

Часть II. Наша внутренняя политика за время управления Министерством внутренних дел В. К. Плеве

Глава I Министр внутренних дел Вячеслав Константинович Плеве (12 апреля 1902 г. - 15 июля 1904 г.)

В десятых числах апреля 1902 г. в служебный кабинет статс-секретаря Государственного совета барона Р.А. Дистерло неторопливыми, мягкими шагами вошел статс-секретарь того же Совета П.А. Харитонов. Поздоровавшись с хозяином кабинета и бывшими тут другими лицами, Харитонов мягко опустился в кресло и, усевшись в нем поглубже и поудобнее, тоном, исполненным шутливого благоговения, таинственно заявил: «Были в Царском Селе. Предложено министерство внутренних дел. Принято». Присутствующим смысл этих слов был вполне понятен. Означали они, что государственный секретарь В.К. Плеве был вызван к государю и принял предложенную ему должность министра внутренних дел.

Несколько затянувшееся после убийства Сипягина назначение министра внутренних дел более обыкновенного интересовало петербургские чиновничьи круги. Оно и понятно. Кандидатами на этот пост называли помимо избранного Плеве еще министра юстиции Н.В. Муравьева и товарища министра внутренних дел П.Н. Дурново. От выбора того или иного из этих кандидатов зависела судьба множества других лиц из высшего состава Министерства внутренних дел и юстиции, а также Государственной канцелярии. При назначении Муравьева многие должностные лица центрального управления Министерства внутренних дел неминуемо были бы заменены судебными деятелями, а с назначением Плеве ожидалось такое же замещение служащими в Государственной канцелярии, что, в свою очередь, приводило к усиленному движению по иерархической лестнице и в самом этом учреждении. Последнее действительно и произошло. Но не одними личными соображениями был вызван исключительный интерес к новому назначению, причем именно возможность выбора Плеве порождала в бюрократических кругах наибольшее количество толков и пересудов. Дело в том, что всем было известно несовпадение взглядов Витте и Плеве и даже их личное нерасположение друг к другу. Было известно и то, что положение Витте уже несколько поколеблено, а что престиж Плеве, как всякого нового министра, будет, по крайней мере в первое время, неминуемо расти. Бюрократический мир ввиду этого не без основания ожидал столкновения этих двух ловких и почитавшихся за сильных людей, заранее предвкушал то удовольствие, которое доставит им зрелище предстоявшей борьбы, и уже учитывал шансы того и другого на победу над своим противником. Возможный уход Витте от власти многими при этом не только учитывался, но и отвечал их скрытым желаниям. Властность Витте, принимавшая с

годами все более резкий, а по временам и дерзкий характер, зависимость всех ведомств в наиболее жизненном вопросе — ассигнований денежных средств — от всемогущего министра финансов, не раз проявлявшееся Витте пренебрежение к правам Государственного совета, выражавшееся в том, что он проводил некоторые, и притом самые важные, меры помимо этого учреждения непосредственными и всеподданнейшими докладами и Высочайшими указами, все это создало для Витте, как в правительственном синклите, так и в Государственном совете, множество лиц, не решавшихся открыто выказывать ему недоброжелательство, но в душе желавших его падения. Выражаясь кратко, бюрократический мир все более ощущал и все менее выносил тот гнет, который на него оказывали как личность Витте, так и его неутомимое, беспрестанное творчество, силою вещей отражавшееся на всех, даже ему не подведомственных отраслях государственного управления.

Нельзя, однако, сказать, чтобы сам Плеве пользовался сколько-нибудь широкими симпатиями. Собственно, личных друзей общительный, легко создававший связи в самых различных кругах Витте имел несравненно более, нежели Плеве, хотя последний принадлежал к петербургскому чиновному миру с значительно более давнего времени, нежели первый. Впрочем, Плеве был вообще из той категории людей, которым легче завязать дружеские сношения с женщинами, нежели с мужчинами. Известность Плеве приобрел еще на должности директора департамента полиции, на которую был назначен вскоре после убийства 1 марта 1881 г. императора Александра II. В ту пору он настолько сумел наладить полицейский аппарат, что ему удалось в короткий срок почти совершенно разгромить революционную партию «Народной воли»: не только прекратились террористические акты, столь частые в последние годы царствования Александра II, но даже сами попытки их совершения¹. На должности товарища министра внутренних дел, которую он занимал, если не ошибаюсь, с 1886 г. при гр. Д.А. Толстом и заменившем его Иване Николаевиче Дурново, Плеве выказал несомненные административные способности. Фактически управляя всем министерством, так как ни И.Н. Дурново, ни тем более гр. Толстой текущими делами министерства не занимались, Плеве, несомненно, значительно улучшил работу центрального аппарата, невзирая на то что выбор личного состава министерства зависел не от него; его шефы, спихнув на него почти все свои обязанности, ревниво сохраняли за собою все свои права.

Невзирая, однако, на столь давнееращение Плеве в высшем бюрократическом мире, все же вполне определенного представления о нем как о человеке мир этот не имел. Почитали его за умного, деловитого чиновника, но его сокровенный взгляд на государственное управление был для многих неясен. Наиболее распространенное мнение о нем было, что он — простой карьерист, исповедующий те взгляды, которые в данную минуту в служебном отношении разделять всего выгоднее. Известный своим злоязычием П.В. Оржевский, бывший в первую половину царствования

Александра III командиром корпуса жандармов, заведовавшим департаментом полиции, говорил про Плеве: «По течению и мертвая рыба плывет», и эта фраза имела в то время успех.

Так ли это было в действительности? Ближайшее знакомство с ним убеждало в обратном. Что Плеве был честолюбив и стремился сделать карьеру, что он в особенности добивался назначения на должность министра внутренних дел — несомненно. Столько же неоспоримо, что он высказывал те взгляды, которые соответствовали господствующему настроению, но совершенно неверно, что он при этом насилывал свои внутренние убеждения или вообще их не имел. Плеве отнюдь не был индифферентом, он искренне и глубоко любил Россию, глубоко задумывался над ее судьбами, сознавал всю тяжесть того кризиса, который она переживала, и добросовестно стремился найти выход из него. Убежденный сторонник сильной и неограниченной монархической власти, Плеве был того мнения, что ни русский народ в его целом, ни, быть может, в особенности его интеллигентские слои недоразвились не только для самостоятельного управления государством, но даже до широкого участия в его строительстве. Русский народ — его серая земледельческая масса — ему представлялся в виде загадочного сфинкса, и он любил говорить, что будущее России зависит от того, насколько государственной власти удастся верно разгадать его затаенную сущность.

Задумываясь над будущими судьбами России, Плеве, по-видимому, представлял себе, что вернейшим способом обеспечения ее спокойного и правильного развития является прежде всего усовершенствование правительственного механизма. Прямо об этом, однако, не высказывал, так как ум его, несомненно, постигал, что жизнь народов зависит от их органических свойств, а не от механических надстроек над нею. Но это положение, при всей его непреложности, было для него лишь теоретическим и умозрительным; реально он сосредоточивал свои помыслы именно на этой внешней стороне народной жизни. При этом он вполне сознавал, что русский управительный механизм не успевал развиваться и совершенствоваться в соответствии с новыми, выдвигаемыми народной жизнью, потребностями. К личному составу администрации Плеве относился при этом критически. Обладая природной, обостренной службою в прокуратуре и по департаменту полиции способностью знать закулисную жизнь и всю подноготную большинства лиц, занимавших сколько-нибудь крупные должности в бюрократическом мире, он не прочь был при случае рассказать про них какой-нибудь пикантный анекдот, из которого становилось ясно, что расценивает он их невысоко*.

** Служба в департаменте полиции развила в Плеве весьма пагубную страсть к перлюстрации частных писем. Перлюстрация эта касалась не только писем лиц, принадлежавших к революционным или хотя бы оппозиционным правительству кругам; ей подвергались письма всех сколько-*

нибудь значительных должностных лиц и даже членов императорской фамилии. Ознакомление с письмами своих сослуживцев и знакомых и содержащимися в них отзывами о нем самом, по-видимому, в особенности интересовало Плеве, и едва ли не это обстоятельство развило в нем тот скептицизм и то столь ярко выраженное в нем недоверие к правдивости рода людского, которым он, несомненно, отличался. Случайно оброненному в частном письме замечанию, весьма часто не отражающему основного мнения пишущего по данному вопросу, он придавал большее значение, чем оно на самом деле имело. Между тем перлюстрация часто не только не способствовала распознаванию истинного облика авторов письма, а, наоборот, искажала его. Чтение чужих писем, естественно, неизбежно приравнивается читающим их к чтению чужих мыслей, тогда как на деле это сводится лишь к подслушиванию чужих речей, а это отнюдь не то же самое. Но проникновение в чужие мысли для большинства людей представляет хотя несомненно нездоровый, но весьма пикантный интерес, причем притягательность его должна со временем все усиливаться. Когда же она производится по долгу службы и будто бы в целях государственных, то сознание по меньшей мере непорядочности этого занятия очень быстро утрачивается; от чтения писем, могущих дать власти какие-либо нужные, а иногда и важные сведения для охранения государственного порядка или раскрытия преступлений, человек незаметно переходит к чтению писем, удовлетворяющих лишь его любопытство и вводящих его в интимный круг личной жизни своих знакомых. После кончины Плеве, когда был произведен осмотр находящихся в его кабинете бумаг, между прочим выяснилось, что он хранил у себя, не передавая их в департамент, бесчисленное количество копий перлюстрированных писем таких лиц, заподозрить участие которых в какой-либо конспирации не было возможности. Все эти письма были строго классифицированы, и на них имелся азбучный указатель.

Надо сказать, что перлюстрируемые письма (перлюстрация писем кроме особого отдела департамента полиции производилась еще в одном отделе Главного управления почт и телеграфов, во главе которого в течение многих лет стоял некий тайный советник Фомин) точно так же не только сохранялись в безукоризненном порядке, но еще ежегодно подвергались особой обработке. На их основании составлялись ежегодные отчеты, стремившиеся воспроизвести господствующие в различных слоях населения общественные течения, равно как и отношение этих слоев к текущим событиям вообще и к правительственным мероприятиям в частности. Отчеты эти составлялись не только тщательно, но даже талантливо. Однако, увы, они очевидно не содействовали направлению государственной власти на правильный политический курс и, следовательно, той цели, которой они должны были служить, не достигали.

В денежном отношении Плеве был безукоризненно честным человеком. Происходя из весьма малосостоятельной семьи — он был сыном аудитора

военно-окружного суда — и пройдя в юности через суровую школу, Плеве хорошо знал цену деньгам. Ни широкого размаха Витте, привыкшего и в частной жизни к неограниченной трате средств, ни сибаритства Горемыкина, ограничивающего свои расходы требованиями личного комфорта и не гонявшегося за показной стороной богатой жизни, у Плеве не было. Расчетливый, но не скупой, Плеве не был при этом ни склонен, ни, по-видимому, способен к денежным аферам и операциям и вообще не задавался целью составить себе сколько-нибудь крупное состояние. В виде недвижимости он обладал лишь крохотным бездоходным имением — дачей в Костромской губернии, где он и проводил свободное летнее время и пределами которого, кстати сказать, и ограничивались его непосредственные наблюдения над народной жизнью. Что же касается наличного капитала, то, как выяснилось после его кончины, все, что он накопил за долгую службу на хорошо оплаченных должностях, сводилось к 40 тысячам рублей.

Приобретенная Плеве репутация сурового и даже жестокого человека также отнюдь не справедлива. При внешней суровости, подчеркнутой величавости и некоторой замкнутости — экспансивности Витте в нем вовсе не было — он на деле отличался отзывчивостью к чужому горю; душевной черствости в нем совершенно не было. Подчиненных своих он, правда, считал нужным держать в некотором страхе, причем не мог воздержаться от едкого по их адресу юмора, почему вообще не пользовался в их среде симпатиями. Однако людей, умевших ему отвечать и оберегавших собственное достоинство, он, безусловно, предпочитал людям подобострастным и по отношению к ним изменял свое обращение. Низкопоклонством и хотя бы безответным выслушиванием его едких замечаний и сарказмов его нельзя было взять. Наоборот, таких людей он презирал, причем резкость его обращения с ними увеличивалась. Именно в такое положение поставил себя Б. В. Штюрмер, бывший при нем директором департамента общих дел Министерства внутренних дел. Готовый перенести любые оскорбления, лишь бы сохранить свое служебное положение, связанное со многими жизненными удобствами, Штюрмер довел себя до того, что безмолвно публично выслушивал от Плеве весьма резкие замечания и колкости.

Имевшимися в его бесконтрольном распоряжении крупными денежными суммами Плеве для себя лично ни прямо, ни косвенно не пользовался, но помочь за их счет своим действительно нуждающимся и работающим подчиненным он никогда не отказывал и притом нередко увеличивал сумму просимого пособия. Сам испытав нужду, он постигал чужую нужду, причем говорил, что, если хочешь, чтобы лошадь работала, надо ее кормить.

Как начальник, Плеве умел наладить работу подведомственных ему учреждений, умел требовать от своих подчиненных быстрого и точного исполнения своих распоряжений. Управляя Государственной канцелярией, он превосходно поставил это учреждение, причем сумел подобрать

выдающийся кадр работников. К тому же он приступил, вступив в управление Министерством внутренних дел, но, быть может, за краткостью времени здесь ему это менее удалось. При выборе ответственных сотрудников он руководствовался исключительно степенью их соответствия порученному им делу и полезных работников умел ценить и дорожил ими. Это, конечно, не означает, что ему не приходилось назначать людей по посторонним ходатайствам и соображениям. Воспитанный в петербургской бюрократической атмосфере, он хорошо знал, что без некоторых уступок лицам влиятельным, без оказания им известного внимания в смысле исполнения некоторых их просьб обойтись невозможно. Но если люди, о которых хлопотали, были сами по себе для дела малопригодны, то он их пристраивал на синекуры, некоторое количество которых неизбежно имеется в любом обширном ведомстве и притом при всяком режиме. Такими должностями в Министерстве внутренних дел были члены совета министра внутренних дел и члены совета Главного управления по делам печати, а для лиц молодых — должности чиновников по особым поручениям при министре. На эту последнюю должность был между прочими назначен по ходатайству кн. Мещерского, с которым Плеве признавал нужным считаться, небезызвестный Петербургу Бурдуков, состоявший при Мещерском в должности миниона, что, впрочем, вызвало немало толков.

При всем своем природном уме, при всем стремлении широко охватить вопросы государственного строительства, отнюдь не погрязая в текущие мелочи управления, Плеве все же не был в состоянии подняться до истинно государственного понимания вещей и на деле был тем, что некогда было сказано про Сперанского, а именно — огромный чиновник. Не имея ни корней, ни прочих связей ни в одном органическом слое на селения, Плеве был чиновник по происхождению, чиновник-юрист по образованию, чиновник по всем своим взглядам, чиновник несомненно высшего полета, превосходно знающий не только бюрократическую, но и административную технику, но все же только чиновник. Он искренне был убежден, что главным, если не единственным, средством вывести Россию на торную дорогу своего дальнейшего развития было приспособление правительственного, по преимуществу административного, аппарата к быстрому и дельному разрешению множества безнадежно застрявших в правительственных учреждениях мелких и крупных административных реформ. Мешало Плеве проникнуться иными взглядами, едва ли не больше всего остального, его малое знакомство или, вернее, совершенное незнание со сложными экономическими проблемами современности. Плеве принадлежал к той плеяде русских государственных деятелей, которые и по образованию, и по самому строю всего народного хозяйства той эпохи, к которой они принадлежали, не постигали того значения, которое приобрели в России в последнюю четверть XIX в. вопросы народного хозяйства. До этого времени в России несомненно господствовало натуральное хозяйство; преобладающее большинство отдельных хозяйств представляло самодовлеющие единицы,

почти вовсе не втянутые в общий экономический оборот страны. В ту пору почти вся государственная экономика сводилась к стремлению сбалансировать государственный бюджет доходов и расходов. Ввиду этого государственное, более или менее механическое, хозяйство привлекало преимущественное внимание, народное же почти совершенно ускользало не только от воздействия, но даже из поля зрения государственной власти. Значение его признавалось, лишь поскольку оно было необходимо для пополнения денежными средствами касс государственного казначейства, а не само по себе.

Администраторы того времени лишь смутно сознавали происшедшую коренную перемену во всем социальном строении государства, и в них еще вовсе не проникло понимание, что при новых экономических условиях, когда весь народный организм составляет одно сложное хозяйственное целое, отдельные части которого находятся в тесной зависимости друг от друга, административные мероприятия лишь скользят по поверхности народной жизни и не в состоянии оказать на нее существенного влияния. Появись Плеве у власти лет на тридцать раньше, в первой половине 70-х годов, т.е. до Турецкой кампании 1877—1878 гг., которую надо признать за грань между старым натуральным укладом хозяйственной жизни России и новым, основанным на денежном обороте, он, несомненно, принес бы значительную пользу государству в смысле лучшего устройства всей его механической надстройки, отрицать значение которой, разумеется, нельзя. Иное положение было в начале XX в. В эту пору никакие административные реформы одни и сами по себе не могли разрешить переживаемого Россией кризиса. Разнородные общественные силы, вовлеченные в общий хозяйственный оборот, настоятельно требовали прежде всего упразднения всяких сословных перегородок, по крайней мере в отношении подчинения всех слоев населения одному общему гражданскому кодексу, этому могучему регулятору хозяйственных взаимоотношений и широкой экономической свободы. Но эта простая истина еще далеко не получила всеобщего признания, а администраторам старой школы, не сведущим в экономических проблемах, была совершенно чужда. Основой государства они продолжали считать правительственный механизм и лишь к его усовершенствованию прилагали свои усилия.

Обстоятельство это приводило к тому, что сам Плеве отнюдь не сознавал своей пропитанности бюрократизмом. Наоборот, он очень охотно острил над «чиновниками», но в его представлении наименование это относилось к людям, либо вовсе ничего не делающим, либо относящимся к делу формально, без живого интереса к нему. Ко всякому увеличению личного состава правительственных учреждений Плеве относился ввиду этого крайне отрицательно, зная по опыту, что в каждом учреждении работа на деле исполняется лишь небольшою частью служащих в нем, остальные же ограничиваются «присутствием».

В этом стремлении сократить неизбежное, по мере увеличения числа населения и предъявляемых им запросов, образование новых должностей Плеве, вероятно, тоже усматривал отсутствие у себя чиновничьих свойств и особенностей, и действительно в нем не сразу можно было усмотреть его глубокий бюрократизм. Мешали этому и присущий ему едкий юмор, и даже столь часто блуждавшая на его губах ироническая улыбка — отражение внутреннего скептицизма и разочарованности в людях. Но скептицизм и даже посмеивание над самим собою — давняя принадлежность русского образованного человека вообще, а русского бюрократа — в особенности.

Вступая в управление Министерством внутренних дел, Плеве, по-видимому, поставил себе три основные задачи: во-первых, наладить деятельность департамента полиции, прежде всего в целях прекращения принявших хронический и массовый характер террористических актов; во-вторых, перестроить административный аппарат как в центре, так и на местах, приспособляя его к изменившимся условиям жизни, и, главное, органически связать их с деятельностью земских и городских общественных учреждений и, в-третьих, провести реформу крестьянского законодательства. Как известно, ни одна из этих трех целей им достигнута не была, причем взгляды его на основные черты, которыми должны были отличаться задуманные преобразования, с течением времени в некоторых частях подверглись существенному изменению.

В отношении «борьбы с крамолой» Плеве изменил свой взгляд в первый же месяц управления министерством. Первоначально он действовал под убеждением, что неуспешность этой борьбы происходит исключительно вследствие плохой постановки полицейского сыска и надзора. Именно это он высказал при посещении, в первые же дни по назначении министром, департамента полиции. Ознакомившись с внешней постановкой досконально известного ему по прежнему заведованию этим департаментом полицейского надзора, он, не обинуясь, заявил, что департамент, очевидно, приложил немалые усилия, чтобы испортить ту постановку этого дела, которую он ему некогда дал. Кроме того, Плеве обратил внимание на огромное число арестуемых и поднадзорных и высказал определенное мнение, что государственная безопасность требует изъятия из обращения не множества лиц с революционными взглядами, а лишь ограниченного руководящего революционным движением круга их. В результате этого посещения последовало почти немедленное смещение директора этого департамента — Зволянского.

Столь же определенно отнесся Плеве к деятельности начальника охранного отделения канцелярии московского обер-полицмейстера Зубатова, уже успевшего применить свою систему в Москве при явной и сильной поддержке главной местной власти. Проезжая через Москву в мае 1902 г. в Харьков и Полтаву, где в конце марта произошли первые крупные аграрные

беспорядки, он начал с того, что заявил обер-полицмейстеру Москвы Д.Ф. Трепову свое неодобрение деятельности подчиненной Трепову московской охранной полиции.

Чем же объяснить, что взгляды Плеве по этому предмету почти тотчас круто переменялись?

Думается, что главная причина этого изменения состояла в том, что до вступления в управление министерством Плеве не отдавал себе вполне отчета о тех глубоких изменениях, которые произошли в социальном организме страны за последнее десятилетие, т.е. со времени оставления им службы в Министерстве внутренних дел. Когда в начале 80-х годов Плеве удалось разгромить революционную организацию партии «Народной воли», в России не существовало никакого социального движения, а были лишь попытки численно весьма небольшой группы лиц насадить это движение. Иное положение получилось к началу нынешнего века. Развившаяся фабрично-заводская промышленность создала почти не существовавший до той поры в России рабочий пролетариат. Пропаганда социализма, преимущественно марксистского толка, нашла для себя ввиду этого благодатную

почву, и это тем более, что в рабочей среде, как следствие пребывания в крупных центрах, появился слой людей, вполне сознательно относившихся к своему положению и стремившихся в общем к определенной цели.

С другой стороны, и русское крестьянство было уже далеко не тем, каковым оно было в 70-х годах прошлого века, в эпоху хождения в народ. Происшедшее с увеличением численности населения уменьшение земельной площади, приходящейся на душу этого населения, при отсутствии какого-либо повышения производительности почвы, т.е. применения более интенсивных способов использования ее производительных сил, все более давало себя чувствовать, в особенности в некоторых местностях Европейской России. Следовательно, и в крестьянской среде почва для ее революционирования имела налицо.

С этим новым положением вещей Плеве, по-видимому, впервые вполне ознакомился из следствия по делу об аграрных беспорядках в Полтавской и Харьковской губерниях. Беспорядки эти, как известно, охватили весьма широкий район. Начались они 30 марта (1902 г.) в Константиноградском и Полтавском уездах, где в течение четырех дней были разгромлены 54 усадьбы, а 31 марта перекинулись в Валкский уезд Харьковской губернии, где также было разгромлено несколько усадеб, из коих две дотла сожжены. Характер этих беспорядков был самый дикий: грабили не только помещичьи усадьбы, но и зажиточных казаков, при этом грабили не только хлеб, живой и мертвый инвентарь, но даже дома растаскивали по бревнам; при грабеже

земской больницы утащили тюфяки из-под больных. Из Валкского уезда беспорядки распространились на Богодуховский уезд, а также на сам город Валки, куда направилась обнаглевшая за три дня беспрепятственного грабежа толпа с целью и его подвергнуть повальному ограблению; здесь она была застигнута войсками, посланными для ее усмирения. В грабеже при этом принимали участие самые разнородные элементы: так, среди лиц, растащивших сахар на свеклосахарном заводе, был, между прочим, диакон местной церкви. Данные следствия по этому делу с очевидностью выяснили, что здесь имелось налицо отнюдь не случайное местное явление, а широко задуманное и тщательно подготовленное революционное действие. Широкий размах революционной пропаганды и подготовленность народных масс для ее восприятия выяснил Плеве и сделанный ему в Москве тем же Зубатовым подробный доклад о деятельности революционеров в московском промышленном районе.

Едва ли не из бесед с Зубатовым убедился Плеве, что одними полицейскими мерами нельзя подавить революционное движение в рабочей среде и что даже с трудом можно оградиться от террористических актов, что для этого необходимо прибегнуть к мерам другого свойства, значительно большего масштаба. С. В. Зубатов не принадлежал к заурядным людям. Несмотря на то что он начал свою службу правительству с того, что предал целый революционный кружок, к которому сам принадлежал, он тем не менее был идейным человеком. Он тщательно изучил все социалистические теории, ознакомился с сочинениями всех корифеев социализма и, превратившись в убежденного монархиста, одновременно остался горячим защитником интересов пролетариата. В соответствии с этим деятельность и задачу государственной власти в области борьбы с революционерами он не только не ограничивал полицейским розыском, предупреждением подготавливаемых революционерами террористических актов и изъятием из обращения пропагандистов, а, наоборот, едва ли не придавал этому второстепенное значение. Основная цель, к которой должно было, по его мысли, стремиться правительство, — это парализовать революционирование рабочего пролетариата посредством, с одной стороны, идейной борьбы с теориями, проповедуемыми социалистами разных толков, а с другой, принятием самим государством решительных мер для защиты представителей труда от эксплуатации капиталом.

В сущности, идеалом Зубатова являлось осуществление многих вожделий социализма (между прочим, восьмичасового рабочего дня) и, следовательно, постепенное изменение социального уклада государства при сохранении старых форм его административного строения. Царь и народ — вот та далеко не новая формула, которую он выдвигал.

Реально деятельность Зубатова в этом отношении выразилась в составлении еще в 1897 г. охранным отделением канцелярии московского обер-

полицмейстера, которым он заведовал, а именно чиновником этого отделения Трутневым, инструкции фабричной инспекции в отношении регулирования условий труда на фабриках и заводах.

Инструкция эта встретила в Московском по фабричным делам присутствии множество возражений, так как предъявляла к работодателям такие требования, которые законом не оправдывались, и была им принята лишь вследствие настояния московского генерал-губернатора, великого князя Сергея Александровича, действовавшего под влиянием московского обер-полицмейстера Д.Ф. Трепова, в свою очередь всецело разделявшего и поддерживавшего взгляды Зубатова.

В оправдание Зубатова надо сказать, что со времени издания еще в 1886 г. закона, определяющего условия труда женщин и малолетних на фабриках и заводах, никаких дальнейших узаконений в этом направлении издано у нас не было. Между тем закон 1886 г. в той области, которой он касался, несомненно опередил западноевропейское законодательство по тому же предмету и являлся, таким образом, ярким доказательством того, чего может достигнуть не ограниченная никакими путями монархическая власть в деле защиты слабых от сильных. Именно по этому пути и стремился идти Зубатов.

Выработка правил, определяющих взаимоотношения рабочих и работодателей органами полицейского надзора, — весьма характерное явление для описываемой эпохи и в полной мере определяет, насколько Витте, который должен был бы взять это дело в свои руки, был не экономистом в широком смысле этого слова, а лишь насадителем определенной отрасли народного труда, т.е. фабрично-заводской промышленности, без соображения с теми огромными последствиями, которые должно было иметь неминуемо сопряженное с ней появление в стране многочисленного рабочего пролетариата. Витте был русский Кольбер, но работавший на рубеже XIX и XX вв. и притом сохранивший мирозерцание и взгляды на социальные проблемы конца XVII в. Для него важно было создать условия, благоприятные для работы капитала в крупных промышленных предприятиях; этим одним он и был озабочен. Бесправное положение рабочих, их полная зависимость от работодателей ввиду неразвитости рабочих и их полной неорганизованности в то время вполне отвечали интересам капитала. Изменить это положение, обеспечить за рабочими хотя бы минимальные права ввиду этого вовсе не входило в планы Витте или, вернее, даже не приходило ему на ум; судьба рабочих как таковых его вовсе не интересовала. Витте был воплощением государственника. Интересы целого, мощь и благосостояние империи, взятой во всей совокупности, были ему весьма близки. Народная гордость была в нем чрезвычайно развита. Но интересы отдельных слоев населения страны он поддерживал, лишь поскольку в его представлении они совпадали с интересами государства как целого. В этом вопросе, как и во всех остальных,

сказывалось основное свойство ума Витте: все синтезировать, все обобщать и ради целого жертвовать всеми частностями, сколь бы они сами по себе ни были значительны.

Как бы то ни было, отсутствие у нас в то время отвечающего условиям времени и развивающейся промышленности рабочего законодательства, а также вялость деятельности фабричной инспекции, происходившая, впрочем, в значительной степени именно от неимения у нее достаточно твердой опоры в нормах закона, невольно наталкивали лиц, отвечающих за сохранение спокойствия в стране, на принятие таких мер, которые по существу отнюдь не входили в круг их деятельности. Что же касается составляющей прямую задачу государственной полиции борьбы с революционерами и их пропагандой, то, по мысли Зубатова, ее надо было построить на внедрении в рабочий класс убеждения в ложности проповедуемых социалистами теорий и вредности их осуществления для самих рабочих. Всякий «барин», включая в это наименование всякого человека с иным, высшим, нежели у народных масс, уровнем образования, преследует, по мнению Зубатова, свои личные цели, с интересами пролетариата, в сущности, не совпадающие. Народ для этих людей, даже когда они будто бы защищают его интересы, служит лишь трамплином для осуществления их собственных, личных интересов, сводящихся в лучшем случае к достижению власти. Единственным верным и неизменным защитником народных интересов является самодержавный царь, стоящий по самому существу своему выше всяких личных интересов и притом имеющий достаточную силу, дабы заставить представителей капитала подчиняться его, направленным к народному благу, решениям.

Подобная пропаганда казалась Зубатову тем более легко осуществимой, что рабочие многих фабрик, расположенных в Москве, выказали живой интерес к просвещению вообще и к расширению своих познаний в области сложного вопроса о взаимоотношениях различных классов в частности. С этой целью рабочие обращались даже к некоторым представителям московской профессуры с просьбой прочесть им несколько лекций на указанную тему. Вот это-то, в определенном направлении, просвещение рабочего класса Зубатов хотел организовать силами государственной полиции, привлекая к нему идейных работников из самой революционной среды, а именно тех из них, которые радикально изменили свои взгляды и убедились в ложности социалистических теорий.

В этом отношении поддерживал Зубатова Л. А. Тихомиров, бывший некогда одним из самых видных членов партии «Народной воли» и затем круто и, по-видимому, искренне изменивший свои взгляды, перешедший в ряды сторонников самодержавного образа правления и даже сделавшийся впоследствии редактором ярко реакционных «Московских ведомостей». Автор в свое время нашумевшей брошюры «Почему я перестал быть

революционером»³, Тихомиров едва ли не был духовным отцом системы, получившей название «зубатовщины». Задумана она была широко. Так, в Москве для офицеров жандармского корпуса Зубатов устроил особые курсы, на которых слушателей знакомили со всеми разнообразными теориями социализма и существующими в Западной Европе различными социалистическими партиями, в том числе, разумеется, и с русскими революционными организациями. Офицеры эти должны были изучить сочинения Маркса, Зомбарта, Герца, Каутского, а из русских — Прокоповича, Плеханова и других. Цель состояла, по-видимому, не только в том, чтобы дать возможность чинам корпуса жандармов успешно исполнять свою прямую обязанность полицейского надзора и розыска, но и вооружить их такими сведениями, при помощи которых они могли бы сами сделаться идейными противниками революционного социализма, так как само собою разумеется, что изучение социальных теорий сопровождалось их критикой и опровержением. Полученными ими сведениями жандармские офицеры должны были пользоваться для того, чтобы переубеждать привлекаемых ими к дознанию и предварительно, конечно, арестованных членов революционных партий. В сущности, это было возведение в систему того, что осуществил еще в начале 80-х годов известный судебный следователь Судейкин по отношению к революционеру Дегаеву, в конечном результате в 1882 г. поплатившийся, однако, за это жизнью. Судейкин убедил Дегаева способствовать раскрытию замыслов революционных организаций, в составе которых Дегаев продолжал оставаться. Зубатов хотел, по-видимому, идти дальше. Ему недостаточно было использовать переубежденных видных членов партийных организаций, остающихся после их освобождения в составе этих организаций в качестве осведомителей о замыслах последних. Наряду с этим он имел в виду превратить некоторых партийных работников из пролетариата в открытых противников социально-революционных теорий, могущих успешно вести в рабочей среде контрпропаганду. Подобно тому как Горький, устроив на острове Капри школу социализма, подготавливал кадры пропагандистов этого учения, Зубатов мечтал таким же образом составить кадры проповедников самодержавия.

Нужно ли говорить, что система Зубатова была фантастична и могла привести лишь к печальным последствиям? Соединение под одной шапкой деятельности полицейской, имеющей целью предупреждение и пресечение преступлений, с деятельностью просветительной, направленной на изменение образа мыслей рабочего пролетариата, силою вещей должно было на практике извратить обе эти деятельности. Просветительная деятельность смешалась с полицейскими мерами и приняла совершенно специфическую окраску. Так, на устраиваемых охранной полицией в Москве в рабочих кварталах собеседованиях выступали не только противники социализма, но и его адепты, однако последние вслед за тем нередко арестовывались.

Стремление переубедить арестуемых партийных работников на практике свелось к стремлению создать кадр преданных правительству революционеров без всякой, однако, уверенности, что преданность эта не основана на получении переубежденными не только свободы, но и средств к жизни. Установить степень убежденности людей в чем-либо, а тем более выяснить те внутренние, далеко не всегда ими самими признаваемые, побуждения, которые содействуют созданию у них тех или иных убеждений, вообще более чем затруднительно. Когда же изменение высказываемых данными лицами взглядов ведет к улучшению их материальных жизненных условий, полагаться на искренность и серьезность этого изменения наивно. Однако именно на этом было построено привлечение к сотрудничеству будто бы переубежденных революционеров. На деле, однако, едва ли кто-либо сомневался в том, что привлекаемые к сотрудничеству революционеры были не что иное, как определенные предатели, действующие из корыстных целей.

Надо, однако, признать, что первые шаги Зубатова в направлении изменения образа мыслей рабочей среды оказались внешне, по крайней мере, вполне удачными. Так, 19 февраля 1902 г., в памятный день освобождения крестьян, в Москве состоялась грандиозная манифестация рабочих. В Кремль у памятника императору Александру II собралась огромная, насчитывающая свыше 30 тысяч человек, рабочая толпа, предварительно торжественно прошедшая через всю Москву, и возложила венок у подножия памятника после отслуженной по царю-освободителю панихиды. Присутствовали на этой панихиде все высшие власти с московским генерал-губернатором, великим князем Сергеем Александровичем, во главе. Манифестация эта должна была символизировать единение царя с трудящимся народом.

Но соловья баснями не кормят. Вслед за убеждением рабочего слоя, что их лучший и даже единственный защитник — правительство, надо было это как-нибудь реально выявить. Помог этому частный случай: на заводе Гужона рабочему оторвало руку. Владелец фабрики почему-то отказался выдать пострадавшему соответствующее денежное вспомоществование. Тогда агентами Зубатова на заводе Гужона были вызваны беспорядки, приведшие к вмешательству администрации в дело об искалечении рабочего и к принуждению в административном порядке заводовладельца выдать лишившемуся руки рабочему высокого вознаграждения. Такое разрешение вопроса, по существу, быть может, правильное, разумеется, лишало распоряжение власти правового основания и вообще вводило во взаимоотношения между рабочими и работодателями элемент произвола, в конечном результате неминуемо приводящий к печальным последствиям. Та же система была применена и на Даниловской мануфактуре при вызванных там стараниями той же полиции беспорядках на почве каких-то предъявленных рабочими требований.

Само собой разумеется, что идти сколько-нибудь далеко по этому скользкому пути администрация не может. Удовлетворить все требования и пожелания рабочих она, конечно, никогда не будет в состоянии, а следовательно, революционные элементы легко найдут благодатную почву для возбуждения рабочей среды, уже не против работодателей и представителей капитала, а против самого правительства, легкомысленно в лице администрации взявшего на себя роль охраны интересов рабочих не на почве соблюдения закона, а собственного усмотрения. Иное дело — создание, путем соответствующих законодательных актов, такого положения, при котором сами же рабочие имели бы возможность ограждать свои интересы, опираясь на нормы действующего права.

Чем при таких условиях объясняется, что Плеве, который не мог этого не понимать, тем не менее не только не прекратил деятельности Зубатова в Москве, а, наоборот, перевел его в Петербург, тем самым как бы одобряя его систему, и, во всяком случае, предоставил ему еще более широкое поле деятельности? Насколько я знаю, тут действовало несколько причин. Едва ли не важнейшей из них была мысль, что переведенный в Петербург и действуя под его непосредственным наблюдением, Зубатов не впадет в те крайности, которых он уже достиг в Москве. Дело в том, что прекратить деятельность Зубатова в полной мере Плеве не был в состоянии. Из разговоров с великим князем Сергеем Александровичем он убедился, что изменить его взгляд на этот вопрос он не может, а бороться с ним на этой почве он знал, что не в силах. Что бы Плеве ни предпринял, великий князь все равно будет под влиянием Трепова и не изменит своего образа действий. Руководило Плеве одновременно и желание ближе присмотреться к результатам деятельности Зубатова и одновременно, опираясь на получаемые от него данные, сначала подчинить себе всю фабричную инспекцию, а затем приступить и к созданию нового рабочего законодательства. Эта мысль конкретно вылилась у него впоследствии в задуманном им образовании в составе Министерства внутренних дел особого Главного управления труда. Мысль возникла, впрочем, в министерстве еще при Сипягине. Конечно, осуществить эту мысль без ожесточенной борьбы с Витте Плеве не мог, но к этой борьбе он все равно готовился.

Таким образом, в представлении Плеве деятельность Зубатова должна была быть, с одной стороны, лишь некоторым предварительным опытом, а с другой — ступенью для постановки всего рабочего вопроса на совершенно иных основаниях. Однако переведенный в Петербург Зубатов, разумеется, иначе смотрел на это дело. Он с места задумал охватить все крупные промышленные центры антисоциалистической пропагандой, организуемой и руководимой местными охранными отделениями. Во что это вылилось фактически, будет изложено впоследствии. Независимо от этого в Петербурге им был привлечен к этому делу завязавший с ним сношения еще в бытность его в Москве священник Гапон, результаты деятельности

которого сказались в полной мере в январе 1905 г. Этим, однако, не ограничилась деятельность Зубатова. Именно она привела к тому, что охранная полиция, быть может, незаметно для самой себя, коль скоро она проникла в лице купленных ею революционеров в подпольные организации, понемногу, отчасти сознательно, отчасти помимо своего желания, превратила своих членов в провокаторов. Агентам полиции — членам этих организаций нужно было побуждать революционеров к активным выступлениям, дабы иметь материал для своих донесений и тем оправдать получаемые ими за их «работу» денежные средства. Охранной полицией, со своей стороны, было весьма на руку искусственно вызывать террористические замыслы, так как это давало ей возможность вылавливать из революционной среды, так сказать с поличным, наиболее решительных ее деятелей.

Именно так развилась и пышно расцвела провокация на почве проникновения агентов сыска в революционное подполье и, обратно, привлечения революционеров в ряды охранной полиции, а именно та провокация, которая в результате дала всем известные махровые цветы, и когда, наконец, нельзя было сказать, где кончается охранка и где начинаются революционеры.

Конечно, допущение зубатовщины было крупной ошибкой Плеве, стоившей ему самому жизни, но, однако, не единственной и едва ли даже самой крупной. Вторая его ошибка в этом деле состояла в том, что он не отграничивал собственно революционных элементов, активно стремившихся опрокинуть не столько политический, сколько весь социальный строй государства, от тех общественных сил, которые хотя и были в оппозиции к правительству, но вовсе не желали коренного переворота и проведения радикальных реформ социалистического свойства.

За минувшие с того времени двадцать лет мы так далеко ушли от тех представлений, которые господствовали в начале века в бюрократических кругах, что с трудом можем себе представить, каким образом могли умные, образованные, искренне стремившиеся к процветанию России государственные люди смотреть на либеральные земские и иные круги как на революционные, и тем более как могли они применять к лицам из этой среды почти те же карательные меры, какие они применяли к людям, стремившимся произвести насильственный переворот всего народного уклада.

Свежо предание, а верится с трудом, что не далее как за год до издания Манифеста 17 октября 1905 г. само слово «конституция» было в России запретным и маскировалось под выражение «правовой строй», причем и в этой перифразе иногда навлекало на лиц, публично заявлявших о желательности его введения в России, суровые репрессии. Однако это было так, и Плеве считал необходимым бороться с либеральным конституци

онным движением столь же сурово и настойчиво, как с движением социально-революционным. Можно даже предполагать, что на самых верхах конституционного движения опасались более, нежели движения массового, народно-революционного. Последнее казалось совершенно невероятным, с самими же революционерами считались, лишь поскольку они были исполнителями отдельных террористических актов. Наоборот, конституционное движение, приводящее лишь к следующему за самодержавием этапу в последовательном неминуемом со временем изменении формы государственного правления и не могущее ввиду этого почитаться чем-то несбыточным, представлялось более опасным.

Кроме того, нельзя не согласиться с тем определением деятельности департамента полиции, которое дал ему талантливый, но беспутный циник, издававший пресловутого «Гражданина», кн. В. П. Мещерский. Обернувшись тотчас после убийства Плеве и произведший перемену политического курса против него, хотя он же его проводил в министры внутренних дел, а во время управления Плеве министерством всячески его поддерживал, кн. Мещерский между прочим писал: «Полиция знала, кто выписывает и читает заграничные запрещенные издания, кто говорит о правительстве резко, очень резко и особенно резко; знала, что есть какие-то типографии, где печатаются прокламации; знала, что говорят или пишут о министре внутренних дел в письмах к приятелям — словом, знала все, что можно было и не знать, но не знала главного, что нужно было знать: что делается в темных и скрытых кружках террористов... Это положение дел восходит ко временам 3-го Отделения, функции которого заключались в наблюдении за образом мыслей россиян. К этому делу наблюдения за образом мыслей, с точки зрения политической благонадежности, примешивалась масса личных отношений, имевших пикантный интерес сплетни и проникания в частную жизнь. Неудивительно, что большая часть внимания и деятельности агентов поглощалась личными сторонами наблюдения, а собственно охранная и предупредительная часть тайной полиции в области преступных замыслов составляла каплю в море дел 3-го Отделения. Оттого за последние годы своего существования 3-е Отделение оказалось бессильным предупредить разные покушения террористов, и они совершались беспрепятственно, и по каждому из них выяснялось, что его успеху содействовала неподготовленность полицейского органа. А рядом с этим множество людей сидело в заключении по обвинению в образе мыслей. Традиции 3-го Отделения унаследовал всецело департамент полиции: "главным его объектом" остаются "признаки образа мыслей"».

Слияние воедино всех оппозиционных правительству элементов страны имело самые тяжелые последствия. Оно искусственно объединило в борьбе против существующего государственного строя элементы, которые ни органически, ни по своим вождениям не только не имели ничего общего, но являлись по существу силами, друг другу более враждебными, нежели

либеральные земские и даже городские общественные круги и сторонники самодержавия.

Раскол между представителями передовых земских кругов и правительственной властью принял резко определенный характер именно при Плеве. Как это на первый взгляд ни странно, но Сипягин, при всей архаичности своих взглядов на государственное управление, при всей их несомненной реакционности, был ближе к либеральным земским кругам, лучше их понимал, нежели умный, образованный, глубже вникавший в государственные проблемы Плеве. Сам начав свою деятельность на выборных должностях, сам принадлежа к правым, но все же земским людям, Сипягин говорил с ними на одном языке и слишком хорошо их знал, чтобы видеть в них людей, опасных для государственного строя. В ином положении был Плеве. Даже внешние его приемы, его, конечно, вежливое, но величественно-начальственное обращение с председателями земских управ и тем более с городскими головами отталкивали эту среду от него. В результате Плеве остался совершенно одинок и среди органических сил страны не имел никого за себя. Промышленные круги не могли, разумеется, переварить зубатовщины, существенно повлиявшей на последующую резкую оппозиционность этих кругов правительству; земцы и даже дворянство видели в нем человека, для них чуждого, черпающего силу и значение исключительно из той формальной власти, которой он был облечен. Но этой формальной властью уже в ту эпоху недостаточно было обладать, чтобы претворить свои намерения в реальные мероприятия. Безмолвная, придавленная общественность, конечно, тоже не могла ничего осуществить, но ее пассивная сила сопротивления была уже весьма значительна, и никакими полицейско-административными мерами силу эту нельзя было побороть.

Ставить, однако, в вину Плеве его веру в мощь правительственной власти весьма трудно, ибо, спрашивается, кто среди петербургских деятелей в то время имел правильное представление о положении вещей и кто среди сотрудников Плеве, из которых многие впоследствии бросились влево, не верил во всемогущество бюрократии в смысле возможности осуществления ею любой меры и проведения любой реформы? Можно даже утверждать, что Плеве в этом отношении был прозорливее многих из своих сотрудников, так как ему не было чуждо сознание, что охватить все стороны народной жизни правительственный аппарат не в состоянии и удовлетворить все народные потребности не может. Действительно, первой мыслью Плеве при вступлении в управление Министерством внутренних дел было ввести в состав Государственного совета представителей высших слоев общественности. Любопытно, что при своем приезде в Полтаву, в первые же дни своего министерства, для расследования происшедших там аграрных беспорядков Плеве не только собрал там совещание местных земских деятелей, но поставил на их обсуждение вопрос широкого государственного

значения. Говоря о смуте, охватившей страну, он указал на необходимость единения правительства и общества и прямо спросил земцев о тех способах, которыми, по их мнению, такое единение может быть достигнуто. Словом, он почти вкладывал им в уста заявление, что в этих видах необходимо привлечь общественность к более близкому участию в государственном управлении. Однако земцы, по-видимому, уstraшенные произведенными погромами частновладельческих имений, в ответ ему говорили лишь об одном — о необходимости ввести в губернии положение об усиленной охране. Вернувшись в Петербург, Плеве на первом же докладе у государя между прочим сказал: «Если бы двадцать лет тому назад, когда я управлял департаментом полиции, мне бы сказали, что России грозит революция, я бы только улыбнулся. Ныне, Ваше Величество, я вынужден смотреть на положение иначе». Затем Плеве принялся за изучение возникавших в прежнее время предложений о привлечении выборного элемента к участию в законодательстве страны. Он извлек с этой целью из архивов проекты Валуева, Лорис-Меликова и гр. Н. П. Игнатьева, последовательно разрабатывавшие образование высшего законосовещательного учреждения, включающего элементы общественности. С присущей ему осторожностью и постепенностью знакомил он с этими проектами государя, не вводя при этом в свои планы своих сотрудников, почему обстоятельство это и осталось не только для широких кругов, но даже и для высшего бюрократического мира почти совершенно неизвестным. Одновременно постарался он войти в ближайшие сношения с земскими лидерами в лице наиболее в то время видного из них, а именно Д.Н. Шилова — председателя Московской губернской земской управы. Но здесь он натолкнулся на определенно враждебное к себе отношение. Шиповым было прямо заявлено, что передовое земство с нынешним составом правительства и, в частности, с ним, Плеве, никаких доверчивых отношений иметь не может и не желает. Вот тут в особенности сказалась оторванность Плеве от общественных кругов и его полное неумение войти с ними в дружеские сношения. Другому человеку, опять скажу, хотя бы тому же Сипягину, это не составило бы никакого труда. Как бы то ни было, свою первоначальную мысль об установлении в России, хотя бы в зачаточной форме, конституционного правления, мысль, очевидно, не встретившую сочувствия сверху, Плеве, быть может отчасти вследствие той непримиримости, которую проявил земский лидер Шипов, вскоре оставил.

Продолжая тем не менее считать необходимым дружное сотрудничество общественных сил с правительственными, он решил наладить его сначала, так сказать, снизу. Именно с этой целью проектировал он местную губернскую реформу, имевшую захватить не только правительственные учреждения, но и земское и городское самоуправление. При этом он отнюдь не имел в виду сузить круг избирателей общественных самоуправлений и сократить сферу их деятельности, но определенно желал связать их работу с деятельностью агентов власти. Работа общественных деятелей должна была

быть именно сотрудничеством с представителями власти государственной, причем последнее слово имелось в виду предоставить во многих случаях последним.

В сущности, Плеве хотел применить в России французскую систему, где органы местного самоуправления тесно сплетены с местной администрацией, где префект не только участвует в департаментских собраниях избранных населением советников (наших губернских земских собраниях), но еще утверждает все отдельные статьи расходов общин, на которые распределена вся Франция, если эти расходы в отдельности превышают 300 франков, так как по французскому закону община почитается малолетней (*la commune est mineure*)⁴, и где город Париж, единственная община во Франции, имеющая особое устройство, имеет не выборного, а назначенного правительством главу.

Упускал при этом из виду Плеве два существенных обстоятельства, а именно то, что правительственная власть во Франции является сама порождением той же общественности, а во-вторых, и это главное, что она находится под постоянным, гласным и бдительным надзором организованного и весьма развитого общественного мнения. При этих условиях агенты власти во Франции не только не злоупотребляют предоставленным им правом veto и инициативой в делах местного самоуправления, а, наоборот, неохотно им пользуются, что даже вызывает иногда нареkanie на них со стороны общественности.

Если бы система, предложенная Плеве, была применена при самом введении у нас земского и нового, утвержденного в 1870 г. городского самоуправления, она, вероятно, предотвратила бы тот антагонизм, который постепенно установился между многими представителями власти и органами местного самоуправления. Не создались бы, быть может, те два лагеря, которые Кривошеин метко охарактеризовал словами «мы» и «они». Но в начале XX в., после почти сорокалетнего самостоятельного существования земских и городских общественных самоуправлений, сплести их с органами правительственной власти в один общий, совместно и дружно работающий организм не было возможности. Против такого изменения характера деятельности органов местного самоуправления восстали бы самые консервативные, самые ретроградные земские люди.

Действительно, нельзя утверждать, что разделение на «мы» и «они» касалось лишь передовых земских элементов. В другой форме, не переходя в оппозицию, ограничиваясь каким-то своеобразно отрицательным отношением к бюрократии, оно проявлялось решительно во всей земской среде. Так, в правых земских кругах нередко можно было услышать про какого-нибудь земского гласного, состоящего на правительственной службе: «Он совсем наш, он земский человек». Словом, правительству подчинялись,

но личный состав правительственного аппарата признавали за нечто чуждое, отличающееся прежде всего чиновничьим формализмом. Любопытно, что взгляд этот не был чужд и самой чиновничьей среде как в центральном государственном управлении, так и в провинциальных учреждениях. Тут, несомненно, сказывался природный русский анархизм — присущее русскому народу полупрезрительное, полувраждебное отношение ко всякой власти, быть может отдаленное последствие долголетнего татарского ига, при котором власть была фактически врагом всего народа. Большевики это настроение, несомненно, поддержали.

Некоторые шаги в порядке осуществления своей основной мысли — объединение учреждений общественных с правительственными — Плеве все-таки осуществил. Так, им было проведено новое положение о петербургском городском общественном управлении, на основании которого председательствование в присутствии по городским делам было возложено вместо градоначальника на особое лицо, назначенное высочайшей властью. Этим хотели выразить какое-то особое уважение к столичной городской думе. Одновременно были несколько увеличены права этого присутствия в отношении городского благоустройства предоставлением ему возможности в известных случаях принимать необходимые меры обеспечения интересов обывателей в случае, если на самостоятельное исполнение этих мер городская дума не выразила согласия. С этой целью в распоряжение присутствия ежегодно ассигновались некоторые денежные средства, а именно 25 тысяч рублей. Надо отметить, что в общем либеральная пресса отнеслась к упомянутому положению сочувственно, однако исключительно благодаря тому, что круг избирателей городских гласных был расширен посредством включения в его состав квартиронанимателей, уплачивающих не менее 1080 рублей годовой квартирной платы. Другая мера, принятая в направлении того же объединения общественных сил с правительственными, вызвала в разных своих частях различное к себе отношение. Состояла она в том, что при хозяйственном департаменте, переименованном в Главное управление по делам местного хозяйства, был образован особый совет смешанного состава, куда наряду с представителями разных ведомств входили представители земских и городских учреждений. Совет этот должен был ежегодно созываться на особые сессии и обсуждать вопросы, касающиеся местных нужд, в том числе требующие законодательного разрешения. Саму мысль совместного обсуждения упомянутых вопросов в общем приветствовали, но передовые земские и городские круги были весьма недовольны тем, что представители органов местного самоуправления вступали в названный совет не по избранию земских собраний и городских дум, а по приглашению, иначе говоря, по назначению Министерства внутренних дел. Существовали, конечно, технические причины, препятствующие предоставлению этого права самим земским собраниям и городским думам, а именно, что число приглашаемых из их состава лиц было силою вещей значительно меньше числа земских губерний

и тем более городов и что, следовательно, избрать состав совета они поодиночке не могли, общей же для всех земств и городов организации не существовало. Само собой разумеется, что препятствие это легко было обойти, хотя бы установлением двухстепенных выборов в совет, но это совершенно не отвечало видам Плеве. Сплачивать органы общественного управления в единое целое значило бы придавать им вящую силу и значение. Наконец, нет сомнения, что приглашение земцев в те или иные центральные учреждения или временные комиссии являлось орудием в руках министра как в отношении поощрения земцев, более приверженных существующему государственному строю, так и в смысле опоры при разрешении общих вопросов на определенные, более правые, земские круги. Прием этот именовался в земских кругах «фальсификацией» общественного мнения, причем такую оценку давали ему все земцы без различия политических оттенков. Указывали при этом, что приглашение в качестве представителей земской мысли председателей и членов управ в сущности неправильно. Управы выбираются земскими собраниями лишь для ведения земского хозяйства и никакими полномочиями в отношении выражения ими общих взглядов по принципиальным, касающимся земской жизни вопросам не облечены. Эту мысль приходилось слышать от представителей наиболее правого земского течения. «Мы их выбирали, — говорили они про личный состав земских управ, — чтобы они стирали белье в земских больницах, а не для того, чтобы они выражали наши мнения и пожелания». Мнение это разделялось дворянскими, даже крайне правыми кругами. Так, предводитель Белгородского уезда Курской губернии, гр. Доррер, впоследствии явившийся одним из лидеров крайнего правого крыла Третьей Государственной думы, возбудил тот же вопрос в 1902 г. в курском Дворянском собрании. Исходя из той статьи нового, утвержденного по поводу исполнившегося столетия учреждения Государственного совета положения о нем, которая разрешала председателю приглашать в подготовительные комиссии, учрежденные для рассмотрения особо важных и сложных законопроектов, лиц, которые по своим занятиям и опыту могут принести пользу при их разработке, и подчеркивая случайность, господствующую при выборе «сведущих лиц», гр. Доррер предложил ходатайствовать о предоставлении дворянским собраниям права избирать из своей среды нескольких лиц, достойных быть представителями в разнообразных совещаниях, созываемых правительством. Такой порядок, говорил гр. Доррер, представит «большие гарантии справедливости и успешного действия, чем применяемый ныне».

Словом, привлечение земцев к участию в работе центрального ведомства не привело к осуществлению желания Плеве объединить общественные элементы с правительственными и не привлекло к Плеве симпатий земских кругов и вообще на практике не получило реального значения, быть может, вследствие появления в скором времени выборных законодательных палат, явившихся естественным центром выражения общественных настроений и

чаяний. Впрочем, учрежденный по мысли Плева Совет местного хозяйства при жизни его не успел даже собраться.

Еще в меньшей степени удалось Плеве устранить другой существенный недостаток нашей административной системы, а именно крайнюю централизацию управления даже самыми отдаленными и имеющими свои резко выраженные особенности областями империи. Между тем Плеве вполне разделял мнение Lamennais, столь лапидарно выраженное в известной его формуле: «La centraliation amene a Faroplexie du centre et a la paralytie des extremités»⁵.

Перегруженность центральных ведомств разрешением вопросов даже третьестепенного значения, касающихся окраин, ощущалась петербургским бюрократическим миром в полной мере, причем она давала себя чувствовать с каждым годом все сильнее. Но в особенности страдали от этой централизации сами окраины, и притом как в разрешении текущих дел, касающихся интересов отдельных лиц, так и в области общих, относящихся до них вопросов. Издававшиеся для окраин отдельные законоположения неминуемо отличались недостаточным соответствием местным особенностям, так как составлялись они в петербургских канцеляриях в большинстве случаев людьми, знакомыми с ними лишь теоретически и поневоле смотревшими на них сквозь призму бумажного делопроизводства. Нельзя сказать, чтобы составители этих законоположений относились к ним легкомысленно, а тем более недобросовестно. Наоборот, они нередко вкладывали в порученное им дело всю свою душу, ибо, что бы ни говорили, работающий личный состав наших центральных учреждений был выдающийся. Работы при этом было неисчерпаемое множество, и силы наших министерств даже по их численности не соответствовали объему дела.

Можно для примера привести хотя бы вопрос инородческий. Ну, как было справиться с таким обширнейшим и разнообразным вопросом, относящимся к управлению и земельному устройству киргизов, башкир, бурят, калмыков и иных мелких народностей, когда все дела о них были сосредоточены в одном, состоявшем всего из трех лиц, делопроизводстве земского отдела Министерства внутренних дел!

Против перегрузки министерств и передачи разрешения большинства дел на места имелось, однако, веское основание, а именно невозможность положиться на местную администрацию. Дело в том, что те самые лица, которые не за страх, а за совесть скромно и усидчиво работали в Петербурге, переведенные в условия наших отдаленных окраин, часто и притом быстро развращались существовавшей там общей обстановкой и превращались во взбалмошных помпадуров. Если губернаторы наших центральных губерний иногда приобретали замашки сатрапов, то можно себе представить, во что превращались начальствующие лица в глухих инородческих и вообще

невероятно отдаленных от правящего центра местностях. Причина была, разумеется, та же, а именно крайне низкий уровень развития масс и происходящее отсюда отсутствие сколько-нибудь организованного, а тем более влиятельного общественного мнения, могущего умерять произвол власти, подчиняя его известному контролю общества. Вследствие этого те лица, которые в Петербурге, занимая даже высшие должности, держались совершенно скромно и ни в чем не проявляли ни высокомерия, ни самодурства, попавши в провинцию, нередко сразу распускали павлиний хвост и становились почти неприступными. Такое превращение было вполне понятно. Петербург представлял крупный культурный центр, где общественное мнение, даже без надлежащей организованности и при стесненной гласности все же играло значительную роль и имело неоспоримое значение и даже силу. С другой стороны, Петербург был средоточием такого множества различных властей высших рангов, что каждый единичный представитель власти тонул в их массе. Поэтому даже высшие петербургские чиновники, выйдя из своего служебного кабинета, сразу превращались в обыкновенных обывателей. Совокупность всего этого приводила к тому, что петербургскому бюрократическому миру было присуще скорее изысканно вежливое, нежели высокомерное обращение со всеми имеющими к нему дело. Простота обращения начальства с подчиненными всех рангов, которая достигала в последнее дореволюционное время едва ли не чрезмерности, была у нас значительно большая, нежели в некоторых республиканских странах, где, как, например, во Франции, иерархические градации служащих значительно сильнее отражаются на их взаимоотношениях. Представители центральной власти у нас были как бы пресыщены ею, утратив, казалось, сознание ее государственного значения, а мягкотелое Временное правительство превратило власть просто в пародию. Воскресли же в России пафос власти и необходимо ей, в известных случаях, присущую суровость и властность большевики. Дорвавшись до власти из низов, они ею упиваются и пародируют.

Иное представляла у нас провинция и даже такие крупные центры, как Харьков, Киев и Одесса. Там административная власть была альфой и омегой, причем местного общественного мнения там не существовало, как не было и надлежащей гласности. Такое положение развращало власть и, между прочим, создало всем известный на Руси почти трафаретный тип «губернаторши». Получалась при этом возможность таких случаев, как, например, ожидание приезда «начальника губернии» для начала театрального представления или даже прекращение движения по улице в ожидании проезда того же лица. При этом чем отдаленнее была провинция от столичных центров, чем она резче отличалась во всех своих бытовых особенностях от коренного ядра государства и чем, следовательно, необходимее было перенести в нее разрешение местных вопросов, тем опаснее было, вследствие ничтожной культуры этих местностей, положиться

на администрацию в смысле соблюдения ею норм закона и воздержания от произвола.

До какой степени провинциальная атмосфера действовала в этом направлении, можно судить по тому, что земские деятели при переходе на административные провинциальные посты, что случалось нередко, также очень быстро принимали те помпадурские замашки, которые они, занимая выборные должности, резко осуждали и клеймили. Достаточно припомнить, что в повседневной провинциальной прессе легче было безнаказанно раскритиковать деятельность правительства вообще, нежели неодобрительно отозваться о каком-либо распоряжении местной губернской да и уездной власти.

Однако и это ненормальное положение имело свои основания. Оправдывалось оно до известной степени как малой образованностью местных журнальных работников, так и малой культурностью местного населения. Критика действий центральных управлений и их глав фактически не подрывала их значения. Иное действие могла производить и фактически производила критика местной власти на серого обывателя некультурной окраины. Она лишала эту власть в его глазах должного престижа. Между тем порядок во многих местностях России, на ее громадных пространствах с населением тем более редким, чем местности эти восточнее, держался исключительно на обаянии власти, лишенной, в сущности, материальных средств остановить не только какое-нибудь народное движение, но даже обеспечить в ней жизнь и имущество обывателей от разбойных нападений. Допустить критику местной власти значило до известной степени расшатать ту основу, на которой во многих местностях России покоился общественный порядок. Совокупность изложенного приводила к дилемме: либо обрезать полномочия местной власти и тем вызвать как медленность, так и недостаточную жизненность решений местных вопросов, либо облечь местную власть широкими правами и тем усилить ее произвол без достаточных гарантий, что руководящим началом будут правильно поняты государственные интересы, а когда дело будет касаться отдельных личных интересов, то принцип справедливости.

Между этими Сциллой и Харибдой стояла государственная власть империи, причем с годами, по мере усложнения условий жизни и усиления экономической деятельности населения, без, однако, соответствующего повышения его культуры, найти удовлетворительное разрешение этой дилеммы становилось все труднее. Впрочем, в централизации управления нашими среднеазиатскими и дальневосточными владениями, а в особенности в стремлении распространить на них как законы, так и административные порядки, действовавшие в коренных областях империи, действовала другая, можно сказать, психологическая причина.

Области эти были, в сущности, не чем иным, как колониями, но то обстоятельство, что они непосредственно прилежали к территории самой империи, составляя с ней одно непрерывное целое, существенно мешало как государственной власти, так и общественной мысли смотреть на них именно как на колонии. С последним термином неразрывно связано представление о таких владениях, которые отделены от метрополии чужеземными владениями, в особенности же водными пространствами; наши дальние владения, обитателями коих были, однако, чужеземные племена, этой особенностью не обладали. Отсюда и получился взгляд на эти владения как на нечто вполне однородное с созидательным центром государства, система управления коими ни в чем не должна отличаться от системы, установленной в этом центре. Между тем мы давно должны были выделить их в особое министерство, скажем, колоний, которое и применяло бы к ним иные порядки, именно для колоний приспособленные. Не получилась бы при этом и такая, например, нелепость, как присвоение полудиким племенам киргиз, бурят и башкир почти таких же избирательных прав в законодательные учреждения, как населению коренных русских областей.

Невзирая на все перечисленные причины, мешавшие децентрализации управления, децентрализации, которая должна бы была быть значительнее в некоторых отношениях для коренных областей государства, а в других, наоборот, для присоединенных к империи по существу колониальных владений, все же попытка в этом направлении была сделана Плеве.

По его мысли, государь собрал в конце 1903 г. под своим личным председательством особое совещание министров, имевших отношение к вопросам, возбуждаемым местной жизнью, причем им было предварительно предложено представить этому совещанию список тех дел, окончательное разрешение которых может быть передано местным властям. Всем департаментам Министерства внутренних дел было отдано распоряжение о представлении подобного списка, причем Плеве было предложено включить в него возможно большее количество дел указанной категории. В результате список этот, по крайней мере по Министерству внутренних дел, получился изрядным. Насколько помнится, список этот был целиком утвержден государем, причем те предположения и изменения порядка рассмотрения местных дел, которые не требовали законодательного рассмотрения, были осуществлены Высочайшим повелением от 10 декабря 1903 г., а остальные переданы в межведомственную комиссию, образованную под председательством члена Государственного совета Платонова, носившую пышное название «комиссии о децентрализации»⁶. Порядок этот освободил ведомства от необходимости предварительных, до представления на рассмотрение Государственного совета законодательных их предположений, письменных сношений с другими, так называемыми заинтересованными ведомствами, что, кстати сказать, до чрезвычайности тормозило развитие нашего законодательства. Заключение комиссии Платонова получили силу

закона Высочайше утвержденным 19 апреля мнением Государственного совета.

Нельзя, однако, утверждать, что произведенная по инициативе Плеве децентрализация имела сколько-нибудь существенное значение. Фактически центральные ведомства были освобождены от решения тех вопросов, которых они и ранее не разрешали по существу, ограничиваясь почти автоматическим утверждением предположений местных властей. Словом, в результате было достигнуто некоторое уменьшение бесплодной канцелярской переписки и, быть может, ускорение окончательного разрешения некоторых дел, но степень действительной зависимости провинции от центра осталась прежней. Для достижения последнего необходим был смелый, истинно реформаторский размах, но им ни бюрократический Петербург, ни Плеве, в частности, не обладали.

Была задумана Плеве и другая реформа, тоже бюрократического свойства, но могущая иметь довольно существенное значение, а именно преобразование большинства департаментов самого Министерства внутренних дел, при одновременном их объединении, в несколько главных управлений. Мера эта имела в виду освободить начальника ведомства от рассмотрения и разрешения преобладающего большинства не только текущих дел, но даже очередных, преимущественно технического свойства, законодательных предположений. В соответствии с этим Плеве предполагал предоставить начальникам главных управлений право не только самостоятельного сношения с начальниками других ведомств, но и внесения законопроектов в Государственный совет и защиты их там от своего имени. Исходил при этом Плеве из того неоспоримого положения, что фактически все равно все подобные дела решались директорами департаментов, а красовавшаяся под соответствующими сношениями и представлениями подпись министра ставилась им без чтения их. Правда, что некоторые, формально наиболее добросовестные министры считали своим долгом все же читать все представляемые им к подписи бумаги, но от этого существо дела не менялось. Так, Плеве рассказывал, что ему случалось заставить И.Н. Дурново в бытность последнего министром внутренних дел, с глазами, выступившими на лоб от чтения до одури объемистых представлений в Государственный совет, причем он, однако, не только не делал в них ни малейших изменений, но делать их и не мог, так как представления эти доставлялись к подписи министра уже в печатном виде. Равным образом и защиту законопроектов перед Государственным советом было, безусловно, целесообразнее возложить на тех же, переименованных в начальников главных управлений директоров департаментов, нежели на самого министра, лишь редко являвшегося в Государственный совет и возлагавшего эту обязанность на одного из своих товарищей, хотя бы он не принимал никакого участия в их составлении.

Освободить министра внутренних дел от всех сколько-нибудь второстепенных дел было, во всяком случае, безусловно, необходимо, так как только при этом условии был бы он в состоянии спокойно и сосредоточенно вдумываться в основные вопросы государственной жизни, иначе говоря, быть не одной из бесчисленных частей правительственного механизма, хотя бы и особой важности, а государственным деятелем в широком смысле этого слова. Эту необходимость сознавали решительно все наши сколько-нибудь выдающиеся министры и выходили из этого положения путем передачи большинства дел в ведение своих товарищей. Плеве, по особым созданным условиям, этого сделать не желал. Своих товарищей он наследовал от своего предшественника — Сипягина, причем это были лица, с которыми его лично связывала прежняя совместная служба. Природная его деликатность не в мелочах, а в существенных для людей вопросах, его несомненная доброта мешали ему с ними расстаться. Наоборот, большинство директоров департаментов было им выбрано лично, и он на них полагался в значительно большей степени. Центр тяжести в разрешении всех существенных вопросов, таким образом, естественно перешел к управляющим департаментами. Их он и намеревался превратить из фактических в юридические вершители этих вопросов. Впрочем, впоследствии преобразованием министра внутренних дел в верховного руководителя ряда главных управлений Плеве имел в виду достигнуть и иной, более важной цели, о которой подробнее будет сказано впоследствии, а именно — постепенного превращения министра внутренних дел если не формально, то, по крайней мере, фактически в руководителя всей правительственной политики. Несомненно, однако, что эта отдаленная цель зародилась у Плеве лишь позднее и что первоначально он стремился лишь к улучшению общей постановки дела в министерстве, в особенности же к предоставлению себе большего досуга для обдумывания вопросов общего значения. Говоря об этом, он между прочим однажды сказал, что во время его поездки с всеподданнейшим докладом в Ливадию, где пребывала в то время царская семья, государь ему сказал, что он особенно дорожит временем пребывания вдали от столицы, так как, не имея здесь ежедневных докладов и приема множества представляющихся лиц, он может отрешиться от мыслей и забот о делах текущих и глубже вникать в вопросы общегосударственного значения.

Глава 2 Крестьянский вопрос*

Третья задача, которую наметил Плеве при вступлении в управление Министерством внутренних дел, — реформа крестьянского законодательства — осталась тоже невыполненной, но производившиеся при нем ра

* *Приступая к изложению хода работ по пересмотру узаконений о крестьянах, я должен оговориться, что вынужден здесь отступить от*

принятого мною до сих пор способа изложения моих очерков, а именно от полного неупоминания о самом себе. Я слишком близко и тесно был связан с этим делом, чтобы иметь возможность неизменно придерживаться безличного его изложения. Сделанная мною в этом отношении попытка — осталась бесплодной. боты по этому вопросу не были бесплодны. Именно они дали толчок разрешению вопроса о крестьянской земельной общине и легли в основу разрубившего этот вопрос Высочайшего указа 9 ноября 1906 г.

Вопрос о пересмотре узаконений о крестьянах возник в Министерстве внутренних дел еще в царствование Александра III, но дальше некоторого предварительного опроса местных учреждений, произведенного еще в 1895 г. через особые губернские совещания, и печатной сводки последовавших отзывов не продвигался. Двинуть этот вопрос, хотя бы формально, но все же более решительно, выпало на долю Д.С. Сипягина. По его предложению 1 января 1902 г. последовал высочайший указ, коим на министра внутренних дел был возложен пересмотр узаконений о крестьянах «для их согласования с действительными потребностями жизни и пользами государства». Этой ничего не говорящей фразой, напоминающей известные резолюции китайских властей, предписывающие «соответственной власти принять надлежащие меры», ограничивались все указания на основной характер предстоящего пересмотра крестьянского законодательства. В каком направлении предполагал произвести этот пересмотр Сипягин, мне неизвестно, да, вероятно, он и сам этого сколько-нибудь точно не выяснил. Одно лишь несомненно, а именно, что никаких радикальных изменений в строе крестьянской жизни произвести не предполагалось, причем вся реформа, если только ее можно назвать таковой, должна была быть осуществлена в строго консервативном духе, о чем можно судить как по общему облику самого Сипягина, так в особенности по тому, что руководителем всего дела должен был быть приглашенный Сипягиным к себе в товарищи А.С. Стишинский.

Во всяком случае, ко времени назначения Плеве, т.е. к маю 1902 г., вся подготовка Министерства внутренних дел сводилась преимущественно к переписке с Министерством финансов об отпуске потребных для сего сумм, причем они исчислялись в весьма значительном размере, если память мне не изменяет— в 120 тысяч рублей, подлежащих ежегодному ассигнованию в течение пяти лет, предположительного срока окончания этой работы. Министерство финансов находило эту сумму чрезмерной, и с ним Министерство внутренних дел вело оживленный и усиленный торг. Был, правда, составлен в земском отделе проект положения о мирских сборах, но лишь в сыром виде.

В каком направлении поведет эту работу Плеве, едва ли кто-нибудь знал. В крестьянском вопросе, как известно, политические течения переплелись.

Часть крайних правых создала себе из земельной общины не меньший фетиш, нежели она представляла для определенно революционных народнических течений, хотя, разумеется, на иных основаниях, точно так же часть социалистически настроенной интеллигенции отстаивала особый сословный крестьянский суд и крестьянское обособленное сословное самоуправление с не меньшим пылом, нежели большинство ультраконсерваторов.

Подобно остальным не знал, разумеется, и я, какое положение займет Плеве в этом Imbroglío⁷, но в одном я был уверен, а именно, что в том или ином направлении, но Плеве приложит все усилия к хотя бы формальному исполнению порученной министру внутренних дел работы. Принять возможно близкое участие в этой работе мне хотелось чрезвычайно. Начав свою службу в крестьянских учреждениях губерний Царства Польского, знакомый до известной степени с великорусским крестьянским бытом в качестве сельского хозяина, с детства постоянный — в летние месяцы — деревенский житель, я уже давно пришел к убеждению, что непреодолимым и грозным тормозом нормального развития сельских народных масс и тем самым всего государства является несомненный пережиток старины — земельная община. Приблизиться так или иначе, ввиду этого, к пересмотру крестьянского законодательства, с тем чтобы по возможности двинуть этот пересмотр в направлении скорейшего упразднения общины, было в то время моей неотвязной мечтой. Судьба мне в этом отношении улыбнулась: одним из первых лиц, удаленных Плеве с ответственных должностей в центральном управлении Министерства внутренних дел, был управляющий земским отделом — Савич. Между тем именно в этом отделе, вопреки своему названию ничего общего с земством не имеющем, а ведающем всем обширным крестьянским делом, должна была производиться работа по пересмотру узаконений о крестьянах. Я решился воспользоваться этим обстоятельством и обратился с письмом к Плеве, в котором заявил о моем страстном желании занять означенную вакантную должность.

Шаг этот был совершенно необычайный и абсолютно не принятый. Хлопотали о назначении на ту или иную должность, разумеется, многие, но делалось это неизменно через третьих лиц, либо влиятельных, либо состоящих в личных близких отношениях с тем, от кого зависело желаемое назначение. Но лично, да еще в письменной форме, просить о назначении на ответственную должность, насколько я знаю, никто не решался. Прибавлю, что Плеве знал меня только по службе в Государственной канцелярии, где я занимал должность помощника статс-секретаря, причем и служебные мои отношения или сношения с ним были чрезвычайно редки и ограничились преимущественно составлением для него, когда он был назначен статс-секретарем по делам Великого княжества Финляндского, нескольких писем на французском языке к представителям наименее враждебной русскому владычеству старофинской политической партии. В письмах этих Плеве

стремился установить с этой партией, в лице ее главарей, дружеские отношения и определить ту политическую линию, на которой можно было бы взаимно сойтись.

Поступок мой, вероятно, удивил Плеве, но в конечном счете увенчался успехом. Любезной запиской Плеве пригласил меня к себе переговорить по поводу полученного им от меня письма и при этом свидании без обиняков объяснил, что кандидата у него на должность управляющего земским отделом пока нет, но что назначение это он должен произвести с крайней осмотрительностью ввиду того, что оно сводится к выбору лица, на котором фактически будет лежать обязанность произвести при помощи соответствующих сотрудников предположенный пересмотр узаконений о крестьянах, причем работе этой не только он, Плеве, но и государь придают огромное значение.

«Все, что я могу вам предложить, — сказал Плеве, — это воспользоваться предстоящим четырехмесячным каникулярным временем Государственной канцелярии и составить за этот срок, при участии некоторых чинов земского отдела, проект нового положения крестьянского общественного управления».

В случае моего согласия Плеве сказал, что пригласит меня в один из ближайших дней на имеющее быть под его председательством заседание для рассмотрения выработанного еще при Сипягине в земском отделе проекта нового положения о мирских крестьянских сборах.

Характерно, что при этом ни сам Плеве не высказал тех основных положений, на основании которых предположено произвести переработку узаконений о крестьянах и, в частности, положения об их общественном управлении, ни меня не спросил, каковы мои мысли по этому предмету. Со своей стороны, не коснулся этого вопроса и я, на что, впрочем, считал, что имею некоторое право. Действительно, как раз к этому времени закончились в «Новом времени» мои статьи, печатавшиеся в течение зимы 1902—1903 гг. под заглавием «Земледелие и заработки»⁸, в которых я указывал, что, сколь само по себе ни важно распространение в крестьянской среде просвещения, все же применение на практике крестьянами приобретенных ими сельскохозяйственных познаний и навыков до уничтожения общинного владения неэффективно. Община, утверждал я, принуждает своих членов равняться не по уровню знаний и предприимчивости наиболее развитых и энергичных своих членов, а, наоборот, поневоле остается в области земледелия на уровне наименее знающих и несмышленных. Сбить железный обруч, которым стянуты русские крестьяне, насильственно закабаленные существующими у нас порядками землепользования, — единственно верный способ поднять их благосостояние — вот чем я закончил упомянутые статьи.

Высказав, таким образом, гласно и притом в наиболее распространенном органе печати, постоянным читателем которого был, несомненно, и Плеве, мой взгляд на основной вопрос всего крестьянского быта, я мог предполагать, что взгляд этот ему известен, и посему настаивать на нем не имел основания. Впоследствии оказалось, что это было не так.

Как бы то ни было, я, разумеется, согласился на предложение Плеве и затем поспешил ознакомиться в земском отделе с выработанным проектом. При этом из разговоров с чинами земского отдела выяснились два обстоятельства: во-первых, что сословное крестьянское общественное управление признано подлежащим сохранению и что об образовании всесословной волости, иначе говоря, мелкой земской единицы, речи быть не должно, а во-вторых, что едва ли не главной причиной признания необходимости пересмотра крестьянских узаконений было желание Витте по возможности сократить общий размер сельских сборов, отвлекающих часть крестьянских средств из касс государственного казначейства, куда они должны были бы поступить в виде окладных сборов и выкупных платежей, по коим за крестьянами числились все возрастающие недоимки. Та же мысль руководила Витте, когда он проводил в 1901 г. при помощи Сипягина закон о предельности земского обложения. В этих же видах он убедил Сипягина приступить к пересмотру крестьянских законоположений. В полном соответствии с этим в Министерстве внутренних дел в первую очередь была поставлена разработка нового положения о мирских крестьянских сборах, даже вне всякой связи с общим планом перестроения крестьянского общественного управления, который никем, впрочем, не составлялся и не обдумывался.

Вскоре затем последовало и само рассмотрение проекта земского отдела под председательством Плеве при участии двух товарищей министра внутренних дел, А.С. Стишинского и П.Н. Дурново, а также двух помощников управляющего земским отделом, Я.Я. Литвинова и Г.В. Глинки.

В этом заседании мне ничего не стоило разбить рассматривающийся проект и одновременно в кратких чертах указать, что вопрос о мирских сельских сборах не может быть вообще сколько-нибудь правильно разрешен до отделения сельского общества, ведающего определенные хозяйственно-административные дела общего значения, от земельной общины, являющейся чисто экономическим союзом или, вернее, просто собранием совладельцев определенного земельного имущества. Отделение это, говорил я, тем более необходимо, что в действительности сельские общества часто не совпадают по их составу с земельными общинами: одни из них состоят из нескольких отдельных земельных общин, другие, наоборот, включают лишь часть членов какой-либо одной земельной общины. Особенно часто встречаются у нас крупные, так называемые разнопоместные селения, т.е. принадлежавшие до освобождения крестьян нескольким владельцам и потому состоящие из нескольких отдельных земельных общин и имеющие

столько же отдельных сельских сходов, сколько общин они заключают. Вследствие этого дела, касающиеся всего селения, взятого в совокупности, не имеют органа для своего разрешения.

На мою критику с большим волнением отвечал Литвинов, оказавшийся, чего я не знал, автором проекта, втайне, по-видимому, надеявшийся быть самому назначенным управляющим земским отделом. К несчастью для себя, Литвинов, не отличавшийся вообще красноречием, был, кроме того, заикой, причем, как это бывает с заиками, при волнении всегда заикался больше обыкновенного. Понятно, что при таких условиях его защита проекта не могла отличаться ни живостью, ни убедительностью, а лишь вызывала у Плеве его обычную сардоническую улыбку. Говорил затем, разумеется, Стишинский, причем не столько защищал разбиравшийся проект, сколько старался выгородить и защитить своего сотрудника Литвинова.

Будучи, несомненно, знатоком действующих узаконений о крестьянах, Стишинский не мог, однако, не признать правильности моего заявления о несовпадении сельских обществ сословно-административной самоуправляющейся общины, обладающей, следовательно, публично правовым характером, с земельной общиной — единицей чисто хозяйственной, частноправового свойства, но при этом указал, что на практике это различие значения не имеет, что крестьяне к нему с давних пор привыкли, причем легко разбираются в характере подведомственных сельскому сходу дел, образуя при встречающейся надобности либо частные сходы, состоящие из одних членов земельной общины, для разрешения вопросов, касающихся лишь последней, либо соединенные сельские сходы для рассмотрения дел, интересующих все разбитое на отдельные сельские общества, но составляющее одно целое селение. Стишинский, верный себе, отстаивал, таким образом, действующий закон, признавая, однако, поневоле его по меньшей мере формальную несообразность.

Признаюсь, не без трепета ожидал я, к какому решению придет Плеве: от этого решения зависела, несомненно, и моя судьба, но зависело, кроме того, и направление, по которому пойдет пересмотр положения о крестьянах. Действительно, намеченный мною план состоял в том, чтобы выработать такой проект нового положения о крестьянском общественном самоуправлении, который можно было бы путем самого незначительного изменения и дополнения превратить в положение о всеобщем сельском обществе и волости. Но для этого необходимо было прежде всего формально выделить в отдельный институт гражданского права земельную общину по необходимости, по своему составу строго сословную, ввиду почитавшегося священным и неприкосновенным законом о неотчуждаемости надельных земель в руки лиц иных, кроме крестьянского, сословий. Коль скоро это было бы достигнуто, достаточно было ввести всех владельцев входящих в состав

ее территории недвижимых имуществ, чтобы получилась волость всесословная, т.е. мелкая земская единица, которую я гораздо позднее, а именно весной 1914 г., тщетно старался отстоять в Государственном совете от натиска правого крыла верхней законодательной палаты: выработанный в то время Министерством внутренних дел проект образования этой низшей всесословной самоуправляющейся ячейки, принятый Государственной думой и защищаемый, правда довольно вяло, правительством, был Государственным советом, как известно, отвергнут.

В 1902 г. мой расчет был основан на том, что выработанные Министерством внутренних дел проекты новых положений о крестьянах должны были быть переданы ранее их представления на законодательное утверждение на обсуждение на места при ближайшем участии местных деятелей. Вот на них-то я и полагался, уверенный, что они внесут в выработанные министерством проекты те небольшие по форме, но весьма значительные по существу изменения, которые приведут к осуществлению издавна горячо проповедуемой ими мысли о необходимости разрушения той, установленной законом, непроницаемой перегородки, которая отделяла крестьян от лиц всех остальных живущих на земле сословий и тем образовала из них отдельную замкнутую касту. Само собой разумеется, что по господствовавшим в то время в правительственных кругах убеждениям, разделявшимся, как я это узнал, и Плеве, провести этот контрабандный товар можно было лишь с крайней осмотрительностью и под весьма консервативным флагом, но мне все же казалось, что при сколько-нибудь изменившихся условиях мои предположения могут осуществиться без особых затруднений. Надо было лишь с места поставить весь пересмотр положения о крестьянском общественном управлении на такие рельсы, которые в конечном результате неминуемо привели бы к преследуемой цели. Отделение сельского общества от земельной общины такими рельсами, несомненно, и было. Понятно поэтому, с каким нетерпением ожидал я, как выскажется по этому вопросу Плеве, мнение которого в ту минуту было решающим.

В этом отношении мне помог небольшой инцидент, возникший еще до того, как Плеве высказал свое решение, и ярко обнаруживший, на сколько сам он был мало знаком с условиями крестьянского быта, причем не большую осведомленность в этом отношении выказали и чины земского отдела со Стишинским во главе.

Дело в том, что при моих дальнейших объяснениях и контрвозражениях я, между прочим, указал, что между общинным и подворным крестьянским землепользованием, в особенности по отношению к общинам, фактически не производящим переделов общинной земли, существенной разницы нет. Разница эта сводится к тому, что общинник лишен права продажи состоящего в его пользовании земельного надела, тогда как владелец подворного участка надельной земли правом этим обладает. При этом в

местностях, где общинное и подворное землевладение соприкасаются на практике, в давно не переделывшихся общинах происходит и продажа наделных участков, однако преимущественно односельчанам.

На это мое заявление Плева с удивлением заметил: «Вы уверены в этом?» — и при этом обернулся к Стишинскому, который, однако, ограничился указанием, что продажа общинных участков совершенно незаконна и что если бы подобная сделка дошла до Сената, то она была бы, несомненно, отменена. Вынужденный войти в более подробное разъяснение вопроса, я, не отрицая справедливости заявления Стишинского, сказал, что суть дела в том, что как при общинной, так и подворной форме землепользования крестьянин не имеет права вполне свободно использовать в хозяйственном отношении состоящие в его владении полевые участки земли. В обоих случаях ему не принадлежит право огораживания этих участков, так как при подворном землепользовании они точно так же не сведены к одному месту и представляют отдельные, часто весьма узкие, полосы, расположенные в разных полях, из которых каждое в своей совокупности заключает земли всех членов общины и превращается при состоянии земли под паром, а также по снятию урожая в общее пастбище, на котором пасется скот всего селения. Обстоятельство это стесняет владельцев подворных участков в деле свободного использования ими своих полевых земель не в меньшей степени, нежели общинников. Обе эти категории крестьян вынуждены поэтому одинаково следовать принятому общиной севообороту, т.е. одновременно оставлять свои участки под паром и возделывать однородные хлебные злаки, т.е. такие, которые созревают приблизительно к одному сроку, чтобы не задерживать времени поступления всего поля по снятию с него урожая под пастбище скота.

Мои объяснения, сопровождаемые указанием, что порядок этот существовал некогда во всей Западной Европе, причем в отдельных местностях сохранился до наших дней и носит на немецком языке специальное название Flurzwang (9), по-видимому, не только убедили Плева в верности моих слов, но еще дали ему едва ли не преувеличенное представление о моем

знании крестьянских порядков и быта. Во всяком случае, он тотчас же после этого инцидента объявил присутствующим, что поручает мне составление проекта положения крестьянского общественного управления, и притом на тех главных основаниях, которые я изложил. Одновременно он сказал Литвинову и Глинке, что просит их принять участие в моей работе.

Условившись тут же с этими двумя лицами, что мы будем собираться по вечерам для совместного исполнения порученного нам дела, я со следующего же дня приступил к этой работе. Должен сказать, что поначалу я встретил со стороны моих сотрудников несколько холодное, а в особенности — скептическое отношение, открыто проявившееся, когда я заявил, что

рассчитываю окончить работу в двухнедельный срок, после чего намерен уехать к себе в деревню и там составить объяснительную записку к совместно нами выработанному проекту. Для них, сравнительно недавно служивших в центральном учреждении министерства, — оба они были перед тем непременными членами губернских присутствий (Литвинов — симбирского, а Глинка — смоленского), всякая законодательная работа представлялась чем-то весьма сложным и трудным. Я же, прослужив пять лет в Государственной канцелярии, вполне усвоил навык к подобной работе. Кроме того, в них еще чувствовалось то, свойственное местным людям, ироническое отношение к петербургским чиновникам, о котором я упоминал выше, во мне же, как в чиновнике Государственной канцелярии — этого, по их представлению, ультрабюрократического учреждения, они ожидали увидеть едва ли не квинтэссенцию формального отношения к делу и вообще человека, способного с легким сердцем на бумаге одним росчерком пера ломать весь уклад народной жизни, совершенно не давая себе отчета о тех последствиях, к которым приведет такая ломка на местах, и даже не интересуясь ими.

По принятому нами порядку занятия наши шли таким образом. Мы приурочивали наши суждения к отдельным частям и статьям действующего положения о крестьянском общественном управлении, новое издание которого (Особое приложение к IX тому Свода законов), кодифицированное с последовавшими до самого последнего времени изменениями и дополнениями, было только что издано Государственной канцелярией, и затем условливались о тех новшествах, которые в них надлежит ввести. В основу нашей работы мы положили те основные мысли, которые были мною изложены на собрании у Плеве и им одобрены. В течение следующего дня я излагал принятые нами правила на письме, которые мы вечером вновь обсуждали уже в качестве отдельных статей разрабатываемого проекта.

Работа наша шла очень быстро, и мои сотрудники с первых же дней убедились, что нам не потребуется и двух недель для ее окончания; одновременно изменилось и их отношение ко мне, причем они, вероятно, начали подозревать, что я скоро превращусь в их постоянного старшего сотрудника.

Закончив совместное составление проекта, я, как предполагал, уехал к себе в имение, расположенное под самой Тверью, причем предварительно просил Плеве предоставить мне возможность ознакомиться с деятельностью волостных правлений путем обозрения этой деятельности в некоторых различных по характеру волостях Тверской губернии, на что он, конечно, охотно согласился. Ознакомление это потребовало довольно продолжительного времени, причем, кстати сказать, вызвало явное неудовольствие тверского губернатора кн. Н. Д. Голицына (впоследствии — последнего до революции председателя Совета министров). Как я его ни

убеждал, что знакомлюсь с деятельностью волостных правлений не в ревизионных целях, а лишь для ближайшего ознакомления с кругом подведомственных этим правлениям дел, что необходимо для исполнения порученной мне законодательной работы, он все же заявил, что не может меня допустить до этого дела без того, чтобы не присутствовал при этом один из непременных членов губернского присутствия. Делать было нечего, пришлось покориться и таскать за собой человека, решительно не знавшего, что делать, пока я вел длительные разговоры с волостным старшиной и писарем и знакомился с невероятно разнообразным кругом дел волостных правлений, из коих огромное, преобладающее большинство никакого отношения к крестьянскому общественному управлению не имело, а было определено общеадминистративного характера.

Несколько дополнив и изменив в соответствии с добытыми сведениями выработанный проект, я приступил к составлению объяснительной записки к нему. Не желая тратить лишнего времени, я ограничился изложением существа дела с полным пренебрежением принятых для законодательных представлений форм, из-за которых подобные записки представляли обширные фолианты, заключавшие изложение хода самого возникновения вопроса, представляемого на законодательное разрешение, а также действующего по нему порядка и, наконец, подробную мотивировку предположенных законодательных новелл (10) с пространными постатейными объяснениями всех заключавшихся в проекте правил. Не желая, однако, нарушать принятых форм, я озаглавил мою работу «Извлечение из объяснительной записки к проекту нового положения о крестьянском общественном управлении». Обстоятельство это привело впоследствии к забавным недоразумениям. Интересовавшиеся крестьянским вопросом, раздобыв тем или иным путем экземпляр моей записки (отпечатанной, но никем не подписанной), усиленно разыскивали ту несуществующую записку, из которой они будто бы имели лишь извлечение. Благодаря принятому способу, вся работа была закончена в короткий срок: в начале августа я мог ее представить в печатном виде Плеве, который для ее обсуждения не замедлил созвать тех же лиц, которые участвовали в первом собранном им в начале июня совещании.

Вновь, не без тревоги, ожидал я этого обсуждения, так как в проект были введены некоторые новшества, не вполне приемлемые такими упорными сторонниками всего установленного, как Стишинский. На основании проекта волость признавалась за сплошную территорию, в которую входили земли, как принадлежащие крестьянам, так и лицам иных сословий. Наряду с этим преобразовывался и волостной сход в значительно менее многочисленное собрание, нежели это было установлено по действующему закону; предусматривалось при этом объединение мелких волостей в более крупные, что давало возможность преобразовать само волостное правление в коллегиальное собрание, председателем которого состоял волостной

старшина, что также облегчало преобразование волости в мелкую земскую единицу. Определялись минимальные размеры содержания волостного старшины, причем значительно уменьшалась дискреционная власть земского начальника, лишавшегося, между прочим, права подвергать старшину аресту. Все это, разумеется, были лишь робкие шаги и паллиативные меры прежде всего потому, что немислимо было распространить взимание волостных сборов на включаемые в состав волости некрестьянские земли, так как владельцы их не вводились в состав волостного общества, ограничивающегося лицами так называемых бывших податных сословий. Но сам факт возложения всех расходов по содержанию волостного правления на одних крестьян, хотя правление это должно было иметь дело и обслуживать потребности всех лиц, проживающих в пределах волости, независимо от их сословной принадлежности, еще ярче выявлял всю несообразность сохранения за этой территориальной единицей узкосословного крестьянского характера. При дальнейшем рассмотрении проекта обстоятельство это должно было, казалось мне, привлечь внимание сторонников всесословной волости, а таковых в правительственных сферах, в особенности среди членов Государственного совета, было немало, и дать им возможность с большим успехом отстоять свою точку зрения.

Независимо от этого в проект было введено правило, согласно которому крестьяне, получившие среднее образование, а равно получившие звание почетного гражданина, не исключались, как это устанавливал действующий закон, из состава земельных общин с утратой ими прав на общинную надельную землю, а продолжали состоять их членами. По тому времени это было значительное новшество, так как пробивало брешь в крестьянском мире, забронированном от проникновения в его среду посторонних элементов. Не следует забывать, что в то время все еще исходили из предположения, что крестьянский мир представляет вполне однородную массу, внедрение в которую лиц других сословий, иного образования и иных понятий может иметь растлевающее на него влияние. Замечательно, что взгляд этот разделялся обоими крайними флангами общественности. Его почти в одинаковой мере поддерживали как крайние консерваторы, так и социалистически мыслящая интеллигенция. Так, «Русское богатство», журнал определенно марксистского направления, устами своих сотрудников еще в 1905 г. утверждал, что «у крестьян общие чувства, общее движение, нет дифференциации». (12) Со своей стороны, революционная группа «Освобождение труда» (13) в изданном ею проекте программы русских социал-демократов, говоря о том, что в России элементом социального движения может быть лишь рабочий пролетариат, утверждала, что «община, связывая своих членов-крестьян только со своими интересами, препятствует их политическому и умственному развитию». (14) Немудрено, следовательно, что взгляд этот разделялся правительством, полагавшим, что при объединении крестьян с лицами других сословий, хотя бы на почве совместного обсуждения общих хозяйственных интересов, будет нарушена

цельность крестьянского мировоззрения и в крестьянскую среду значительно легче проникнет все шире развивавшаяся и, несомненно, тлетворная революционная пропаганда.

Нужно ли говорить, что взгляд этот был глубоко ошибочен, что уже в начале нынешнего века крестьянство утратило свои примитивные взгляды и далеко не представляло однообразной, одинаково чувствующей и мыслящей массы. Крестьянство, значительная часть которого уже более тридцати лет проходила многолетнюю военную службу, крестьянство, которое с каждым годом расширяло район, в пределах которого оно искало и находило разнообразные отхожие заработки, крестьянство, во многих местах фактически сливавшееся с фабричным людом, уже давно расслоилось и заключало в своей среде элементы весьма разнообразные. Искусственное отгораживание крестьян на местах их постоянного жительства от других элементов сельской жизни в порядке общественного управления отнюдь не препятствовало ни распространению в их среде, ни восприятию ими революционной пропаганды, но зато препятствовало их объединению в общем деле с представителями культурных сословий, единению, безусловно благотворному, чему наглядным примером и доказательством служила совместная работа землевладельческого элемента с крестьянским в уездных земских собраниях. Здесь крестьяне воочию и на деле убеждались, насколько представленный в земстве поместный элемент заботился об интересах народной массы. Ведь надо же наконец признать, что русское земство, *horribile dictu* (15), дворянское и землевладельческое, все свои начинания направляло исключительно в пользу крестьян, само же несло лишь земское обложение и решительно никакой личной пользы из земской работы не извлекало. Народное образование, медицина, страхование от огня, принявшие в последние годы перед революцией столь широкий размах агрономические меры — все это было рассчитано исключительно на удовлетворение нужд крестьянского населения и на условиях быта землевладельцев вовсе не отражалось. Единственно, что могло существенно интересовать землевладельцев, — проведение дорог и устройство мостов — за отсутствием достаточных средств, как известно, находилось в самом зачаточном состоянии и начало развиваться только в самое последнее время и то лишь в единичных земствах.

Опасались проникновения в крестьянскую среду революционного полуинтеллигента, но он туда проникал беспрепятственно, хотя бы и в виде наводнявших деревню бесчисленных земских статистиков, производивших решительно никому не нужные оценочные работы, а фактически отрезали от населения наиболее культурный и в существе своем консервативный слой.

Не подлежит сомнению, что правительство с самого освобождения крестьян, т.е. с начала 60-х годов прошлого века, находилось в очень трудном положении. В эпоху великих реформ Александра II оно горячо и искренне

стремилось к развитию самодеятельности в народных массах и к их просвещению и развитию. Но на первых же шагах в этом направлении оно столкнулось с революционным движением, стремившимся использовать все принимаемые меры в своих революционных целях. Достаточно припомнить в этом отношении те воскресные школы, учреждение которых в Петербурге правительство всецело поощряло в 60-х годах, и как ими завладели революционные элементы анархического направления мысли вроде Кропоткина (16) для превращения их в центры пропаганды своих учений, в их творческом философском основании недоступных пониманию масс, но вполне понятных в их разрушительной части. Правительство имело право или, вернее, обязано было охранять государство от людей, стремившихся разрушить самые его основания, и поэтому не могло не препятствовать их деятельности. Вина русских революционных групп вовсе не ограничивается тем непосредственным неисчислимым вредом, который они принесли русскому народу своей совершенно не отвечающей уровню его умственного развития пропагандой социального и имущественного равенства, превращавшейся в упрощенном понимании массы в призыв к насильственному отобранию чужого имущества. Вина этих элементов, едва ли не самая тяжелая, заключается еще в том, что она препятствовала правительству во всех его начинаниях в деле развития народного просвещения. Лозунг «грабь награбленное» возник вовсе не в момент появления на сцене в качестве деятельной силы большевиков. Фактически он был заложен в основу учения всех разнообразных революционных кружков и толков. Борьба с этим направлением была неизбежна, и правительство можно упрекнуть не в том, что оно вело эту борьбу, а в том, что оно не только не сумело привлечь к этой борьбе культурный слой, а, наоборот, в известной мере объединило этот слой с явными врагами государства как такового. Эта роковая ошибка не сознавалась многими в правительственной среде вплоть до самого момента революции, что и разделялось в полной мере Плеве. Неудивительно поэтому мои опасения, что даже в той зачаточной форме, в которой проект крестьянского общественного управления заключал попытку объединить крестьянство воедино со всеми слоями сельского населения, он встретит с его стороны решительные возражения. Однако, к вящему моему удивлению, этого не последовало, что, вероятно, зависело в значительной степени от той архиконсервативной мотивировки, которой были сопровождаемы все предположенные новеллы. Правда, Стишинский, как всегда весьма внимательно изучивший обсуждавшийся проект, обратил внимание на сохранение в составе сельских обществ крестьян, автоматически, по полученному ими образовательному цензу, исключавшихся из рядов крестьянского сословия, но возражения его не встретили сочувствия у Плеве, и поэтому он на них не настаивал. Мнение начальства для Стишинского было священно.

В результате проект был единогласно присутствующими одобрен и получил санкцию Плеве, который тотчас после заседания сказал мне, что намерен

исполнить выраженное мною желание и назначить меня управляющим земским отделом с возложением на меня всей организации сложной работы по пересмотру крестьянского законодательства; «если на то последует соизволение государя императора», оговорился Плеве, причем прибавил, что Его Величество придаст исключительное значение предположенной реформе. Плеве неизменно и щепетильно подчеркивал, что он является лишь проводником и исполнителем царских указаний и иначе как с величайшим почтением о государе, его действиях и словах не упоминал, причем, однако, никогда не прятался за спиной царской власти, чтобы объяснить принимаемые им и не встречавшие общественного сочувствия решения и меры.

Как я уже упоминал, Плеве был, несомненно, добрым человеком, видевшим в своих сотрудниках живых людей, с нуждами которых он всегда считался, — черта, которая отнюдь не была присуща всем нашим сановникам. Проявил он свою, даже исключительную, внимательность и ко мне при объявлении о своем намерении включить меня в состав центрального управления министерства, заявив, что он желает отложить мое назначение до осени, дабы предоставить мне возможность воспользоваться обычным летним отдыхом, что даст мне больше сил для напряженной работы в течение зимы.

Вступив в соответствии с этим в управление земским отделом лишь в самом конце сентября 1902 г., я тотчас занялся подыскиванием лиц, способных быстро и толково, хотя бы с внешней стороны, исполнять работу по редактированию и мотивировке новых проектов положения о крестьянах. При этом я скоро убедился, что мои ближайшие сотрудники по земскому отделу для этого дела малопригодны.

Помощники управляющего отделом, число которых достигало четырех, были люди, достаточно знакомые с законодательной техникой, познания же их в области крестьянского быта были, так сказать, мелочного свойства и ни к каким общим выводам их не приводили. Так, Я. Я. Литвинов, впоследствии заменивший меня в должности управляющего земским отделом, по образованию, кстати сказать, врач, хотя и был мелким землевладельцем Симбирской губернии и последовательно занимал должности земского начальника и непрямого члена губернского присутствия, но все же знаком был с крестьянскими распорядками, так сказать, лишь формально, насколько они отражались в разбиравшихся крестьянскими учреждениями делах. Творческой фантазией почтенный Яков Яковлевич не обладал, причем не был одарен и редакторскими способностями. Он был, несомненно, безукоризненно честный человек и чрезвычайно добросовестный работник, но ожидать от него какой бы то ни было смелой инициативы было бы напрасно. Впрочем, смелостью он вообще не отличался и принадлежал к числу добросовестных исполнителей, но отнюдь не людей с ярко определенными собственными взглядами. На Литвинова я мог вполне

положиться в отношении ведения текущих дел, что тотчас же использовал, свалив на него почти всю обыденную работу, в полной уверенности, что всякое сколько-нибудь спорное дело он не решит, не переговорив предварительно со мной.

Иным человеком был Г.В. Глинка, впоследствии директор департамента и товарищ главноуправляющего землеустройством и земледелием в бытность таковым Кривошеина. Он был не чета Литвинову. Умный, талантливый, он был, однако, скорее способен к административной организационной работе, нежели к работе кабинетной. Ведал он сельской продовольственной частью земского отдела, что поглощало все его время, и по этому одному привлечь его к деятельному участию в пересмотре крестьянского законодательства не было возможности. При этом Глинка, хотя и происходил из Смоленской губернии, был типичный хохол, не лишенный доброй доли хитрости, и отличался в особенности хохлацким упрямством и упорством; заставить его вникнуть в чужие мысли и их сколько-нибудь воспринять было чрезвычайно трудно. Любопытно, что одновременно собственных стойких убеждений он не имел, но зато твердо стоял на тех взглядах, которые в данную минуту разделял. Всего ярче это обнаружилось в вопросе крестьянского землеустройства. Во время революционного движения 1905 г. он превратился в горячего сторонника принудительного отчуждения частновладельческих земель и, служа в то время в Главном управлении землеустройства и земледелия, поддерживал направленный к осуществлению этой мысли проект Кутлера. Но вот наступила реакция, в ведомстве земледелия водворился Кривошеин, и Глинка изменил свои взгляды, всецело и искренне примкнув к мысли о повышении благосостояния крестьян посредством их переселения на обособленные хутора. Этим, однако, его превращения не кончились. Состоя во время кратковременного нахождения армии генерала Врангеля в Крыму министром земледелия, он составил проект земельного закона, на основании которого все частновладельческие земли переходили к крестьянам той волости, в пределах которой земли эти расположены. Проект этот по существу был верхом несообразности: значение его было чисто политическое, а именно направленное к привлечению симпатий крестьянского населения к Белому движению, но Глинка смотрел на него иначе и, по-видимому, искренне верил, что именно таким путем будет наилучшим образом разрешен весь аграрный вопрос, и поэтому с лихорадочной поспешностью стремился осуществить его на деле. Он даже не собирался пощадить того, что признали нужным сохранить большевики, а именно имение Фальц-Фейна *Ascania Nova*, с его единственным в мире рассадником самых различных диких пород животных, постепенно превращаемых в животных домашних. Впрочем, я должен сказать, что с Глинкой мы вообще как-то не сходились характерами, и хотя и сохраняли дружеские отношения, но взаимно чувствовали, что совместная работа для нас затруднительна. Моя оценка его личности поэтому, быть может, недостаточно объективна.

На должности третьего помощника управляющего отделом я застал некоего Илимова, перешедшего в Министерство внутренних дел из судебного ведомства, человека, определенно тусклого. Он ведал делами крестьянских учреждений судебного свойства и являлся одновременно как бы юрисконсультотом отдела, но использовать его в области переустройства волостного суда было немыслимо. Впрочем, Илимов вскоре вернулся в Министерство юстиции, а на его место я выбрал по рекомендации сенатора А.И. Нератова К.К. Стефановича (сына протоиерея Казанского собора), занимавшего должность люблинского, а перед тем — тифлисского вице-губернатора и впоследствии назначенного сенатором. Ко времени его назначения работа по пересмотру узаконений о крестьянах была уже распределена, и потому участия в ней он не принимал, да едва ли и был бы для нее пригоден. Впоследствии он превратился преимущественно в ревизора местных крестьянских учреждений; роль эта ему вполне соответствовала.

Наконец, четвертым помощником управляющего отделом состоял Н.Н. Купреянов — человек очень серьезный и весьма толковый. По своему официальному званию Купреянов был неперенным членом присутствия по крестьянским делам Царства Польского, председателем которого, по должности, состоял управляющий земским отделом; присутствие это являлось кассационной инстанцией по отношению к некоторым решениям присутствий по крестьянским делам губерний Царства Польского. Впоследствии Купреянов вплоть до мировой войны занимал должность сувалкского губернатора, откуда и был вытеснен занявшими губернию в феврале 1915 г. германскими войсками. По своим политическим взглядам Купреянов был убежденным консерватором и националистом, но, по иронии судьбы, состоял в близком родстве с наиболее передовыми земцами Костромской губернии, из которой сам происходил. Властный, требовательный по службе, он, к сожалению, отличался тяжелым характером и даже злобностью, вследствие чего был просто ненавидим как своими подчиненными, так и сослуживцами. По своему политическому облику Купреянов был типичным представителем старой русской государственности, сосредоточившей свои заботы и мысли на величии родины как целого и мало беспокоящейся о степени удовлетворения потребностей народных масс. К вопросам, касающимся русского крестьянского быта, он относился поэтому довольно равнодушно. Крестьянское дело в Царстве Польском он знал превосходно, причем там твердо отстаивал интересы крестьян против интересов землевладельцев, полагая, что это соответствовало русским государственным интересам.

Среди остальных, весьма многочисленных, чинов отдела многие были людьми выдающимися, но, к сожалению, очень мало из них можно было использовать для предстоящей законодательной работы. Так, например, И.М. Страховский, впоследствии вятский, а затем тифлиссский губернатор и,

наконец, сенатор, был человек высоко и разносторонне образованный и живо интересующийся всяким порученным ему делом, причем был знатоком государственного, а особенно — административного права. Его участие в разработке положения о крестьянском общественном управлении было бы драгоценно; к тому же он обладал талантливym пером. Но упомянутое положение было уже выработано еще до моего назначения в министерство, причем Плеве, как я узнал впоследствии, сознательно не ввел его в число моих сотрудников по этой работе. Дело в том, что Страховский был сотрудником журнала «Право» определенно либерального направления, редакция которого составила впоследствии зерно кадетской партии, и на страницах этого журнала отстаивал необходимость слияния крестьян с остальными сословиями в порядке управления и суда, а также независимость от администрации земских учреждений. Плеве, какими-то таинственными путями знавший биографии большинства служащих в министерстве, как-то полусерьезно аттестовал мне его как «гносного либерала», которому, собственно, не место в Министерстве внутренних дел. Обстоятельство это, однако, не помешало тому, что с учреждением в 1903 г. пятой должности помощника управляющего земским отделом мне удалось без труда получить согласие Плеве на назначение на эту должность этого самого Страховского. Упомяну здесь, кстати, что либерализм Страховского не выдержал столкновения с действительностью: на должности вятского губернатора он, отстаивавший права земства, вступил с местным земством в упорную борьбу, а на должности тифлисского губернатора прослыл ярким реакционером.

Неисчерпаемым кладезем познаний в области крестьянского законодательства и аграрного вопроса был в земском отделе Д.И. Пестржецкий, впоследствии читавший курс крестьянского права в Училище правоведения и вследствие этого присвоивший себе после эмиграции из Советской России в Берлин звание профессора, хотя никогда таковым не был, ибо ни малейшей ученой степенью не обладал. Весьма любопытный тип представлял этот человек. Больших познаний в какой-либо определенной области с меньшей способностью разбираться среди них и прийти на их основании к определенному выводу я в жизни моей ни у кого не встречал. Если прибавить, что Пестржецкий отличался, кроме того, необыкновенным самомнением, большим честолюбием и немалым чванством, то станет ясно, что ни к какому творческому делу приспособить его было нельзя. Впрочем, утверждали, что свои имущественные дела он умел вести превосходно, я же знаю лишь то, что, унаследовав от какого-то дяди большое состояние в Полтавской губернии, он кстати и некстати говорил о своем обширном сельском хозяйстве и как-то противно кичился своим богатством. В земском отделе он ведал делами горнозаводских крестьян, земельное устройство которых не было завершено до самой революции, причем составлял по этим делам обширнейшие рапорты в Сенат. Ввиду их спорности и огромных замешанных в этих делах интересов, они все неизменно доходили до Сената

по жалобам на решения губернских присутствий со стороны либо крестьян, либо владельцев горнозаводских имений. Дело о землеустройстве горнозаводских крестьян несомненно требовало коренного разрешения ряда принципиальных вопросов в законодательном порядке. Заняться этим делом мне решительно не было времени, и я поневоле предоставил ему следовать своим прежним ходом, крайне медленным и не всегда согласованным в смысле однородности постановляемых по ним отдельных решений. Я, впрочем, несколько раз пытался разобраться в некоторых отдельных делах при участии Пестржецкого, знавшего наизусть все касающиеся их узаконения, равно как разъяснения Сената, но никогда не мог добиться определенного ответа на обращенные к нему вопросы. На каждый вопрос он отвечал градом цитат из кассационных решений Сената, но ответить определенно «да» или «нет» на поставленный вопрос он решительно был не в состоянии. Поручить при таких условиях принципиальную разработку вопроса об окончательном землеустройстве горнозаводских крестьян Пестржецкому было бы бесполезно, а допустить этого путаного человека до работы по выработке новых положений о крестьянах было бы просто вредно. Устранение от этой работы Пестржецкий, разумеется, почел за кровную обиду и невероятное с моей стороны легкомыслие; иметь такого знатока крестьянского права и не привлечь его к переработке этого права в целях согласования его с изменившимися условиями жизни Пестржецкий мог объяснить только завистью к нему и даже, быть может, боязнью, что я сам при этом обнаружу свое невежество в этих делах. Мнение это он мог считать тем более обоснованным, что всяким порученным ему делом он занимался с любовью и с полной беспристрастностью. Труженик кропотливый и дотошный, он в свои печатные труды по аграрному вопросу включал множество фактических, преимущественно статистического характера, драгоценных данных, но какие-либо новые мысли или хотя бы ясно изложенные выводы труды эти не заключают. Этим же качеством отличается и изданная им в 1922 г. брошюра под заглавием «Около земли». Это — драгоценный, но сырой материал для выяснения последствий проведенных большевиками земельных реформ. Что же касается курса крестьянского права, который Пестржецкий читал в Училище правоведения, то нельзя себе представить ничего более путаного и непонятного. Читая этот курс, я невольно жалел его несчастных слушателей, вынужденных сдавать по нему экзамен. Достойны сожаления, впрочем, и сенаторы 2-го (крестьянского) департамента, куда Пестржецкий был назначен незадолго до революции. Могу себе представить те пространные и путанные речи, которые они вынуждены были от него выслушивать по поводу всякого разбираемого ими дела.

Перебирая в памяти моих бывших сотрудников по земскому отделу, я не могу не упомянуть еще некоторых из них, настолько мне приятно, живя за рубежом и оплакивая дотла разрушенную великую и бесконечно дорогую родину, мысленно остановиться на том времени, когда я по мере моих сил и

разумения стремился содействовать ее укреплению и развитию. При этом я должен отдать справедливость моему предместнику по управлению земским отделом Г.Г. Савичу. Талантливый, способный, знающий и умеющий работать, но ленивый и не интересующийся никаким делом по существу, он обладал особым даром разбираться в людях и подбирать не только толковых, но прямо выдающихся работников. Земский отдел заключал 16 делопроизводств, из которых каждое ведало какой-либо отдельной важной отраслью, и почти все заведующие ими были не только вполне на своем месте, но, можно прямо сказать, лучшего выбора едва ли можно было сделать. Не интересуясь сам делом, Савич не мог, разумеется, использовать столь удачно им же выбранных людей в полной мере их сил и знаний. Предоставленные самим себе, но вместе с тем лишённые возможности по собственному почину возбуждать какие-либо общие вопросы и вообще проявлять какую-либо инициативу, они поневоле вынуждены были при Савиче ограничиваться рутинным рассмотрением текущих дел, да и от этого их отвлекало постоянное составление бесчисленных справок по ним для представления их Сипягину, который, как я упоминал, воображал, что может из Петербурга разрешать местные, не имеющие принципиального значения дела. Впрочем, в земском отделе составление справок приняло необычайные размеры и по другой причине, а именно вследствие изумительной лени самого Савича. Знакомиться непосредственно с каким-либо делом он не имел вовсе обыкновения; не довольствовался он при этом и устными по ним докладами своих сотрудников, а непременно требовал от них представления письменных по ним справок, заключающих сжатое, но ясное изложение всего дела, к которому они относились. Порядок этот почитался в отделе настолько нормальным, что он сохранился и после ухода Савича, и служащие в отделе были даже несколько удивлены, когда я его, тотчас по вступлении в управление отделом, всецело раз и навсегда отменил. Это, казалось бы ничтожное, обстоятельство сразу изменило отношение к делу едва ли не всех заведующих делопроизводствами, что мне впоследствии неоднократно свидетельствовали мои ближайшие сотрудники. Вообще, Савич не только не поощрял никакого проявления инициативы у своих подчиненных, а, наоборот, относился отрицательно, чтобы не сказать враждебно, к возбуждению ими каких-либо, безразлично крупных или мелких, общих вопросов. Однако достаточно было предоставить им свободу в этом отношении, чтобы тотчас выяснилось, насколько большинство служивших в отделе относилось не только с интересом, но и с любовью к порученному им делу. Так, по инициативе моих сотрудников в земском отделе были произведены работы, в которых давно чувствовалась настоятельная потребность. Были, например, пересмотрены все изданные со времени освобождения крестьян, т.е. за сорок лет, относящиеся к крестьянскому делу циркуляры министерства, число которых достигало нескольких сотен, причем оказалась возможная преобладающая большинство их отменить, а оставленные, в весьма незначительном числе, в силе изложить в виде кратких, легко усвояемых тезисов, что, несомненно, облегчило работу

местных учреждений. Еще большее значение имело издание наказа земским начальникам в их административной деятельности, в котором, между прочим, были определены границы применения земскими начальниками их дискреционной власти в отношении наложения штрафов и заключения под арест проживающего в пределах их участка крестьянского населения. Наказ этот был составлен ИМ. Страховским и предварительно его утверждения подробно обсужден и рассмотрен группой лиц, служащих в отделе, большинство которых начало свою службу в местных крестьянских учреждениях. Составление подобного наказа должно было бы сопутствовать самому учреждению института земских начальников, но за истекшие с тех пор тринадцать лет исполнено не было, чем, несомненно, в значительной степени объясняются многие дефекты в деятельности этого института. Наконец, были приняты меры, из которых некоторые были осуществлены в законодательном порядке для улучшения личного состава земских начальников: так, лица, не имеющие высшего образования, должны были ранее назначения на эти должности пройти через определенный стаж, а именно состоять в должности кандидата земского начальника при каком-либо губернском присутствии и сдать специальный экзамен. Одновременно при самом земском отделе были образованы специальные курсы для лиц, желающих занять эту должность, и учреждены экзамены для прошедших эти курсы. Для облегчения и упорядочения работы волостных правлений был издан специальный сборник", включающий выдержку из 16 томов Свода законов, всех узаконений, которыми эти правления должны были руководствоваться, причем законы эти были приурочены к различным сторонам весьма разнообразной деятельности волостных правлений. Сборник этот скоро сделался настольной книгой в волостных правлениях. По инициативе В.И. Бафталовского, переведенного на службу в земский отдел из саратовского губернского присутствия, человека, вообще отличавшегося живым отношением к делу, было предпринято издание периодического журнала²⁰, в котором кроме текущих распоряжений правительства и имеющих руководящее значение решений Сената, относящихся до сферы деятельности крестьянских учреждений, помещались статьи по вопросам крестьянского права, выдержки из отчетов по ревизиям местных крестьянских учреждений и был заведен отдел ответов на обращенные в редакцию журнала любыми лицами вопросы по тому множеству недоумений, которое вызывало применение на практике нашего расплывчатого, крайне бедного положительными правилами крестьянского права. Отдел этот приобрел несомненную популярность у местных крестьянских учреждений, о чем можно было судить по количеству получавшихся в журнале разнообразных вопросов. Что же касается самого журнала, то им пользовалась даже общая пресса, неоднократно помещавшая цитаты из него на своих столбцах. Стремлением улучшить должность земских начальников и направить их деятельность в русло строгой законности были вообще преисполнены все служащие земского отдела. Я должен, однако, сказать, что огульные нападки, которым подвергались земские начальники, были по

меньшей мере до чрезвычайности преувеличены. Нет сомнения, что в среде института, насчитывающего до шести тысяч человек, были лица, не соответствовавшие занимаемой ими должности, но, наряду с этим, множество земских начальников с любовью занималось порученным им делом, причем пользовалось уважением сельского населения, охотно обращавшегося к ним по всем своим разнообразным делам и нуждам. Не подлежит также сомнению, что на ход крестьянского общественного управления институт земских начальников имел, в общем, благотворное влияние. Сама мысль об образовании этого института была, безусловно, правильна, но, к сожалению, извращена приданием земским начальникам судебных функций. Впрочем, по мере уменьшения численности как вообще помещного сословия, так в особенности тех его членов, которые предпочитали жить в своих поместьях, уровень личного состава земских начальников заметно понижался. В сущности, выбирать было не из кого, а пришлый элемент был в общем хуже даже тех местных землевладельцев, которые мало соответствовали этой должности. Завлечь в деревенскую глушь на сравнительно ничтожное содержание людей, могущих как ни на есть устроиться в более или менее культурных городских условиях, было тем труднее, что даже разрешение ими жилищного вопроса было почти невозможно. Помещики жили в своих усадьбах, а где мог поселиться пришлый человек, обреченный жить в пределах определенного сельского участка?

Наконец, нельзя отрицать, что в отдельных случаях при выборе земских начальников из местной среды играли роль и их личные связи. Характерный в этом отношении случай произошел при мне в 1903 г. в Старооскольском уезде Курской губернии. На должность земского начальника был представлен местным губернатором по соглашению, как этого требовал закон, с губернским и уездным предводителями дворянства некий Беляев, причем из доставленных о нем в министерство сведений оказалось, что по образованию он был фельдшер, каковую должность в последнее время и исполнял в буйном отделении дома умалишенных во Владикавказе. В утверждении этого кандидата министерством, разумеется, было отказано. Тогда как к Плеве, так и ко мне начали поступать письма от самых разнообразных лиц с просьбой об утверждении Беляева, а затем приехали лично за него ходатайствовать местные губернатор Гордеев, губернский предводитель Дурново и ряд других лиц. Выяснилось, что Беляеву удалось каким-то образом увезти дочь весьма уважаемого местного помещика кн. Касаткина-Ростовского и на ней жениться. Родители, всячески стремясь несколько облагородить навязанного им их дочерью зятя и приставить его к какому-либо более подходящему занятию, нежели окарауливание сумасшедших, воспользовались открывшейся вакансией должности земского начальника, в пределах участка которого находилось их имение, чтобы уговорить местных людей, от которых это зависело, представить его на эту должность. Я, разумеется, ответил определенным «поп possumus» (21).

Однако однажды Плевее сказал мне: «Мы отказали в утверждении земским начальником некоего Беляева; меня со всех сторон за него просят — нельзя ли его все-таки назначить?»»

— Помилуйте, Вячеслав Константинович, ведь Беляев до сих пор был фельдшером при буйных сумасшедших. Не можем же мы признать местное население буйными сумасшедшими!

— Да, да, конечно.

Прошло еще несколько времени, и приезжает ко мне председатель курской земской управы Н.В. Раевский, известный в то время своим либерализмом, и тоже усердно просит о назначении Беляева. На мое удивление, что просит об этом именно он, я повторил ему приблизительно то, что сказал Плевее.

— Нет, он уже более года оставил эту должность и вообще не такой плохой. К тому же он уже несколько месяцев изучает обязанности земского начальника у занимающего эту должность в соседнем участке. Очень уж жалко стариков; право, назначьте его.

— Ну хорошо, пускай он сам сюда приедет, я с ним поговорю и посмотрю, что он такое.

Не прошло и недели, и передо мной предстал маленький, весьма невзрачного и совершенно некультурного облика коренастый, мускулистый человек, по внешнему виду вполне пригодный для укрощения буйных сумасшедших, но едва ли способный исполнять судебные обязанности. Поставил я ему для начала лишь один вопрос, а именно — правилами, заключающимися в каком томе Свода законов, он будет руководствоваться при исполнении обязанностей земского начальника. Беляев, после довольно продолжительного молчания, выпалил: «В первом». Ответ этот я счел совершенно достаточным для того, чтобы прекратить дальнейший разговор, и, конечно, остался при прежнем мнении. Этим дело, однако, не кончилось: письма и личные ходатайства продолжались едва ли не в увеличенном количестве. Приехал вновь и Раевский, причем утверждал, что Беляев лишь не знал, в каком томе Свода законов находятся узаконения о крестьянах, но сами узаконения вполне изучил. Выведенный из терпения, я довольно резко ему сказал, что от меня это назначение, во всяком случае, не зависит и чтобы он обратился с этой просьбой непосредственно к министру, на что Раевский заявил, что он был у Плевее, который его направил именно ко мне.

— Ну, если так, то моего согласия никогда не получится.

На этом мы расстались, причем ни Плевее мне, ни я ему ни слова о ходатайстве за Беляева больше не говорили, а губернатору я написал официальное письмо, прося его не замедлить представлением нового

подходящего кандидата на вакантную в Старооскольском уезде должность земского начальника.

Однако вместо этого представления ко мне явилась дряхлая старушка, мать жены Беляева, и столь неутешно плакала и так жалобно просила за своего зятя, что я не выдержал и сказал, что вновь доложу это дело министру.

— Мне даже совестно, о чем я хочу вас просить, — сказал я при первом моем докладе Плеве, — но все-таки не согласитесь ли вы на назначение Беляева?

— Бога ради, назначьте, — поспешно ответил мне Плеве, — у меня была старушка Касаткина-Ростовская, и я, только боясь вашего буйного нрава, выдержал ее атаку и сказал, что ничего для нее сделать не могу и чтобы она вас об этом просила. Назначьте, а не то от просьб за Беляева я больше жить не могу.

Беляев был назначен, но последствия получились самые неожиданные. В 1905 г. во время аграрных беспорядков была разгромлена усадьба Касаткина-Ростовского, причем в числе громил был и незадолго перед тем уволенный от службы Беляев, которого к тому времени жена, предварительно им жестоко избитая, покинула.

Невзирая на все эти обстоятельства, затруднявшие соответствующий подбор личного состава земских начальников, тем не менее главная причина, по которой институт этот не был в части своего состава на высоте своего призвания, состояла в том, что по своему учреждению он был предоставлен самому себе без должного или, вернее, всякого руководства. Вина в этом, несомненно, падает на Стишинского, управлявшего земским отделом в первые годы по учреждению означенного института. Не обладая вообще способностью руководить чем-либо, Стишинский был, кроме того, мелочным: он мог чрезвычайно тщательно и добросовестно вникать в каждое отдельное рассматриваемое им дело, но охватить общим взглядом что бы то ни было и выяснить себе его кардинальные линии он был вовсе не в состоянии. Синтез был Стишинскому не только не свойственен, но и не доступен. Кроме того, Стишинский, почитавший себя духовным отцом института земских начальников, так как составлял под руководством Пазухина, правителя канцелярии гр. Д.А. Толстого, в бытность его министром внутренних дел, проект положения об этом институте, относился с какой-то любовной ревностью к каждому земскому начальнику. Характерный эпизод в этом отношении произошел на первом же моем докладе Плеве по должности управляющего земским отделом. Докладывая в присутствии Стишинского о неправильных действиях какого-то земского начальника, я предложил принять по отношению к нему суровую дисциплинарную меру. Стишинский немедленно заступился за обвиняемое

мною лицо и сказал при этом, что действия его мною изложены не совсем правильно. Плеве тотчас обратился ко мне и грозно сказал: «Ваш доклад неверен?!», на что я ответил, что за верность моего доклада, разумеется, отвечаю и прошу Плеве отложить решение этого дела до следующего доклада, чтобы Стишинский мог ближе ознакомиться с ним. Плеве согласился, а на следующем докладе Стишинский вынужден был признать, что обстоятельства дела мною были изложены правильно, причем он, однако, полагает, что предложенная мною дисциплинарная мера слишком сурова. Выслушав со своей обычной саркастической улыбкой Стишинского, Плеве полушутливо сказал: «Ну, я вижу, что управляющий земским отделом привел товарища министра к Иисусу. Согласен в данном случае с вашим мнением, — продолжал он, обращаясь ко мне. — Засим прошу вас впредь все подобные дела решать по обоюдному согласию с Александром Семеновичем, не доводя их вовсе до меня. До сих пор я этого делать не мог, так как Александр Семенович всякого земского начальника почитает за своего первенца, ну, а вы, я вижу, видите в них пасынков». Плеве, по крайней мере по отношению к Стишинскому, был, безусловно, прав. По какой-то странной аберрации Стишинский видел во всякой попытке ввести деятельность земских начальников в более точно определенное русло дискредитацию их значения и склонен был придавать то же значение всякой дисциплинарной мере, примененной по отношению к отдельным земским начальникам. Словом, в представлении Стишинского, земские начальники должны были являться отражением не власти государственной, руководящейся твердыми нормами права, а власти патримониальной, основывающей свои решения на всем комплексе внутренних особенностей данных лиц, не могущих быть уловленными никакими законами и доступных лишь пониманию людей, находящихся в постоянном близком соприкосновении с той средой, которой они призваны руководить. Само собой разумеется, что Стишинский не только никогда не высказывал этого взгляда, но даже едва ли формулировал его самому себе, но что такова была вся его психология — для меня несомненно. Ничем иным не могу я объяснить и того, что земские начальники с самого их образования были не только предоставлены сами себе в смысле руководства их деятельностью, но даже не было принято мер к выяснению степени соответствия назначенных лиц возложенным на них обязанностям. Первая ревизия земских начальников, охватившая 24 уезда, расположенные в трех губерниях, была произведена лишь в 1904 г., т.е. спустя 15 лет после их учреждения, причем она сразу обнаружила множество вопросов, настоятельно требовавших компетентного разрешения. Выяснилось, между прочим, что надзора за деятельностью земских начальников почти вовсе не существовало иначе, как в порядке рассмотрения поступающих от заинтересованных лиц жалоб на их решения и действия. Происходило это вследствие того, что лица, на которых возложен был законом этот надзор, уездные предводители дворянства, за редкими исключениями не только его не осуществляли, но всемерно его избегали по той простой причине, что подведомственные им земские начальники были

одновременно и теми лицами, от которых в значительной степени зависело само избрание уездных предводителей. Выяснилось, кроме того, что главный дефект большинства земских начальников состоял не в том, что они проявляли какой-то ничем не сдерживаемый произвол по отношению к местному населению, а в том, что они были склонны к бездействию. Глубокая провинциальная лень, сдобренная доброй дозой индифферентизма к порученному делу, — вот была отличительная черта многих, если не большинства, земских начальников.

Возвращаюсь, однако, к личному составу земского отдела и упомяну прежде всего о заведующем делопроизводством по чиншевым делам Западного края²², В.И. Якобсоне. По внешности Якобсон представлял приказного 50-х годов: длинный, худой, весь бритый, являющийся по начальству не иначе как в вицмундире с орденом на шее, он состоял на занимаемой им должности столь продолжительное время, что успел дослужиться на ней до чина действительного статского советника. Кругозор его был, разумеется, весьма узок, но чиншевые дела, из которых большинство отличалось чрезвычайной сложностью, он знал превосходно и питал к ним какую-то особенную нежность. Надо было видеть, какое явное наслаждение доставляло Якобсону подробно и любовно докладывать все обстоятельства какого-либо исключительно крупного дела, в особенности если решение по нему имело принципиальное значение. Если в России к моменту революции еще остались чиновники типа Якобсона, то они, несомненно, с тех пор с горя все умерли, постольку для них занятие порученным им делом было священнодействием.

Совершенно иной, можно сказать противоположный, тип представлял заведующий инородческим делопроизводством И.И. Крафт, занимавший впоследствии должность якутского губернатора. Не получивший никакого школьного образования и начавший службу разъездным почтовым чиновником в Сибири в местности, населенной инородцами, он отличался живым, своеобразным, оригинальным умом и близким знакомством с бытом и особенностями самых разнообразных инородцев, населяющих азиатские владения России. Буряты, башкиры, киргизы — всех их он близко знал и свободно говорил на их языке, причем был горячим защитником их прав на обширные, но весьма слабо ими используемые земли. На земли эти точили зубы решительно все. Стремилось их захватить военное ведомство для передачи различным казачьим войскам; предъявляло на них притязания соседнее оседлое русское население; не прочь было их захватить переселенческое управление для нужд переселения из России. Все подобные покушения Крафт почитал за явное преступление и с необыкновенным жаром отстаивал право кочевников сохранить свой кочевой быт, а следовательно, и необходимые для них обширные земельные пространства. Приземистый, коротконогий крепыш с необыкновенно буйной растительностью на лице и голове, Крафт с его довольно резко выраженным монгольским типом — мать его была бурятка — отнюдь не производил

впечатления культурного человека, а тем более чиновника департамента Министерства внутренних дел, но познания его были весьма разнообразны, пером он владел превосходно и обладал природной способностью излагать свои мысли в кратких и ясных выражениях, благодаря чему с законодательной работой справлялся превосходно. Все это не мешало ему, однако, смотреть на государственную власть со старинной, патриархальной точки зрения. Мне часто приходилось ему говорить, что его идеал — творить суд и расправу, сидя под развесистым дубом и руководствуясь исключительно отвлеченной справедливостью, а отнюдь не каким-либо писанным законом. Во всяком случае, такого соединения простого здравого рассудка, обширного и разнообразного жизненного опыта, всесторонних, приобретенных самоучкой познаний, необыкновенного трудолюбия мне не приходилось встречать. Крафтом при мне были разработаны подробные проекты земельного устройства различных инородцев и порядка их управления, но, увы, все они безнадежно застряли в межведомственной переписке, которая по обычаю должна была предшествовать представлению в Государственный совет всякого законопроекта. Весьма знающим, толковым работником, отличающимся при этом щепетильной добросовестностью, был заведующий делопроизводством по крестьянским делам Прибалтийских губерний барон А.Ф. Мейендорф, состоявший одновременно приват-доцентом С.-Петербургского университета, впоследствии член Государственной думы и товарищ ее председателя. Специальные узаконения о крестьянах этого края он знал превосходно и относился к поступающим к нему делам с отменной беспристрастностью. О степени его добросовестности можно судить по тому, что, когда возникли предположения о некотором изменении этих узаконений, он категорически отказался от участия в этой работе и даже оставил земский отдел, заявив, что он, принадлежа к прибалтийскому дворянству и в известной мере разделяя его взгляды, не может ручаться, что его отношение к этому делу будет совершенно объективным и чуждым определенной окраски.

Ознакомившись с главными работниками земского отдела, я убедился, что найти среди них сотрудников по общему пересмотру узаконений о крестьянах невозможно: вполне отвечающие той специальной отрасли крестьянских дел, которой они заведовали, они не отвечали, однако, тем разнообразным требованиям, которым должны были, в моем представлении, удовлетворять лица, привлеченные к этой сложной работе. Пришлось искать этих сотрудников среди младших чинов отдела, и среди них я нашел двух весьма полезных работников, а именно приват-доцента Петербургского университета по кафедре государственного права И.Ф. Цызырева, которым была составлена подробная записка к проекту крестьянского общественного управления и постатейные к нему объяснения, и П.П. Зубовского, занимавшего должность младшего помощника делопроизводителя. Последний явился главным редактором проекта положения о крестьянском землепользовании, а также проекта правил об ограничении крестьянских

земель и, наконец, впоследствии — высочайшего указа 9 ноября 1906 г., предоставившего отдельным крестьянам право свободного выхода из общины, указа, составившего не что иное, как некоторое видоизменение или, вернее, расширение важнейших по существу положений упомянутого проекта.

И.Ф. Цызырев, человек весьма образованный и владеющий литературным пером, легко входил в чужие мысли и потому был драгоценным редактором, но собственно законодательной техникой не владел и поэтому к составлению самих законопроектов не был привлечен. По неизвестным мне причинам он почти единственный из моих ближайших сотрудников по земскому отделу не выдвинулся впоследствии на сколько-нибудь первые роли в служебной иерархии; ко времени революции он занимал, если не ошибаюсь, должность одного из помощников управляющего земским отделом. Наоборот, П.П. Зубовский сделал в короткое время блестящую карьеру: младший делопроизводитель в 1903 г., он в 1907-м был уже директором департамента землеустройства в Главном управлении того же названия, а ко времени революции — товарищем министра земледелия. Пробил он себе дорогу удивительным трудолюбием и необыкновенной трудоспособностью. Едва ли Зубовский способен был оценить общее значение разрабатываемых им мероприятий и даже едва ли задумывался над их влиянием на народную жизнь, но зато технический способ их осуществления и казуистические последствия того или иного изложения закона он обдумывал с необыкновенной тщательностью. Желание предусмотреть в самом законе отдельные порождаемые жизнью случаи в том порядке явлений, которых касался проектируемый закон, было у него настолько развито, что в его изложении закон несколько утрачивал свойство общих положений, принимая мелочный, дробный, казуистический характер. Не в недостаточной обдуманности, а, наоборот, в слишком детальной разработке закона приходилось нередко упрекать милейшего Петра Павловича: «Оставьте что-нибудь на долю Сената, призвание которого — толковать закон в его приложении к частным случаям» — вот о чем приходилось просить этого кропотливо добросовестного труженика.

Ограничиться этими двумя лицами для быстрого исполнения предпринятой законодательной работы не было, разумеется, возможности. Надо было, следовательно, искать других сотрудников уже вне отдела. В желающих недостатка не было. Множество лиц обращалось ко мне с предложением своих услуг, причем привлекало их, вероятно, и то обстоятельство, что труд этот, поскольку он не производился чинами земского отдела, получавшими за него лишь усиленные наградные, был платным. На работы по пересмотру крестьянских узаконений были ассигнованы хотя значительно меньшие, нежели первоначально исчисляло их Министерство внутренних дел, но все же крупные суммы; всего за три года (1902—1904) было ассигновано немногим более ста тысяч рублей, из которых, однако, большая часть была

израсходована на печатание в количестве нескольких тысяч экземпляров выработанных проектов, сопровождаемых подробными, обстоятельными записками и составивших в общем шесть объемистых томов, а также огромное количество опросных листов, разосланных губернским совещаниям, призванным обсуждать упомянутые проекты.

Многие обращались, разумеется, с такими же предложениями и непосредственно к Плеве, который некоторых из них и препровождал ко мне. Я должен при этом сказать, что, поручив мне производство всей работы, Плеве не стеснял меня в выборе сотрудников и никого мне не навязывал, ограничиваясь лишь указанием, что то или иное из посланных им ко мне лиц обладает, по его мнению, такими-то свойствами и данными. Так как круг знакомств Плеве в чиновничьей среде был бесконечно шире моего, то, в конечном счете, кроме служивших в земском отделе, лица, указанные самим министром, за одним лишь исключением были привлечены к пересмотру крестьянского законодательства. Это были А.И. Лыкошин, П.П. Шиловский и А.А. Башмаков.

Наиболее полезным из этих трех оказался А.И. Лыкошин, занимавший должность члена «консультации при Министерстве юстиции учрежденной» и бывший перед этим товарищем обер-прокурора Сената. Его перу принадлежит весьма обширная и в общем интересная, в особенности по богатству заключавшегося в ней материала, записка по проекту положения о землепользовании крестьян. Творческой фантазией Лыкошин обладал едва ли не в меньшей степени, нежели Зубовский, но действующее крестьянское законодательство, обширную в этой области сенатскую практику, а также весьма богатую и разнообразную литературу по вопросу о господствующих у крестьян земельных порядках он знал досконально. В составленной им записке он использовал эти знания вполне, что, несомненно, придало ей характер серьезного научного труда. Однако той любви к делу, которой отличался Зубовский, у Лыкошина не было, и к последствиям тех правил, которые он редактировал и мотивировал, он относился довольно равнодушно. Почтенным «недостатком» Зубовского, а именно излишней дотошностью, граничащей с мелочностью, Лыкошин тоже не отличался. Никто себе не враг, и, конечно, Зубовский не мог не желать продвижения по службе и улучшения тем самым своего житейского положения, но Зубовский, исполняя какую-нибудь работу, уходил в нее с головой, тщательно и всесторонне ее обдумывал и безусловно не останавливался на мысли о тех последствиях, которые она могла иметь для него самого. Наоборот, для Лыкошина цель работы была — карьера. Вообще, как личность Зубовский был, несомненно, много выше Лыкошина, одной из отличительных черт которого была необыкновенная угодливость и подобострастное отношение к начальству. Оба они были истолкователями чужих мыслей и исполнителями чужих указаний, но Зубовский углублялся в чужую мысль и, всецело ее воспринимая, стремился ее разработать,

усовершенствовать и развить. Вследствие этого в порядке исполнения он обнаруживал значительную инициативу и свои, так сказать, дополнительные мысли не без упорства отстаивал. Наоборот, Лыкошин почти ничего своего в работу не вносил и решительно никогда не возражал на даваемые ему указания. В соответствии с этим, назначенный впоследствии товарищем министра внутренних дел, он не только не проявил на этой должности какой-либо самостоятельности, но вообще не играл никакой роли даже в том самом деле землеустройства крестьян, которому посвятил много труда. Правда, дело это перешло к тому времени целиком в Главное управление землеустройства и земледелия, но все же в качестве обязательного по должности члена учрежденного при этом управлении Главного земельного комитета Лыкошин мог бы оказать на его направление значительное влияние, но это было время, когда восходила звезда Кривошеина, главноуправляющего этим ведомством и председателя названного комитета, а потому Лыкошин благоразумно предпочел ему поддакивать, нежели вступать с ним в малейшие споры. То же слепое подчинение воле начальства проявил Лыкошин и в Государственном совете, членом которого он был назначен, кажется, в 1916 г. Вступив в ряды правого крыла Совета, он неизменно голосовал (чем и ограничивалось его участие в законодательной работе) соответственно мнению правительства. Что же касается Зубовского, то, назначенный в 1907 г. директором департамента Главного управления землеустройства, он явился главной рабочей осью всего дела землеустройства крестьян и усиленно проводил выселение крестьян на хутора и отрубные участки. Правда, и здесь он ограничивался истолкованием, исполнением и развитием чужих мыслей и предначертаний, которые он неизменно усваивал в полной мере. Вся идейная часть работы, правда лишь в самых широких чертах, в области крестьянского землеустройства, несомненно, принадлежала за эти годы (1907—1915) Кривошеину. Степень приспособляемости Зубовского к чужим мыслям обнаружилась в полной мере лишь после революции, когда он в Крыму, состоя помощником Глинки, с прежней добросовестностью и усердием приводил в действие тот несуразный земельный закон, который был издан генералом Врангелем, — закон, в корне противоречащий тем основам землеустройства, которые он же проводил при прежнем строе.

Совершенно иной, и притом весьма интересный, тип представлял рекомендованный мне Плеве А.А. Башмаков. Человек огромной эрудиции и не столько широкого, сколько безбрежного полета мысли, он положительно не был в состоянии координировать ни свои мысли, ни свои познания. Блестящий, но чрезвычайно многословный оратор, он отличался, однако, постоянными длительными отступлениями от тех основных положений, которые он в данную минуту защищал. В сущности, это был ряд красивых, блещущих глубокими познаниями петель, имеющих по содержанию лишь отдаленное отношение к обсуждаемому предмету, и потому следить за мыслью Башмакова было более чем трудно. К какой-либо законченной

работе Башмаков не был вовсе способен. Еще менее того он был способен изложить в кратких, четко сформулированных правилах какой бы то ни было отдел гражданского кодекса. Привлеченный к участию в составлении проекта нового гражданского уложения, он был вскоре за непригодность к этой работе от нее отставлен. Участие его в работах по крестьянскому законодательству было обусловлено его знанием крестьянского обычного права, особенно в области наследования. Но попытка его закрепить в сколько-нибудь стройном и последовательном изложении основной дух крестьянского обычного наследственного права ему совершенно не удалась. Работу эту, содержание которой, несомненно, во многом исходило из данных, представленных Башмаковым, пришлось в конечном счете поручить другому лицу, а именно молодому человеку В. Г. Петрову, о котором в дальнейшем скажу несколько слов.

Вообще, Башмаков некоторыми своими свойствами чрезвычайно напоминал тургеневского Рудина. Увлекающийся и по первому знакомству неизменно увлекающий и других, он вплотную ни к какому предмету подойти не мог. Нельзя сказать, что он витал лишь в широких обобщениях; речь его, наоборот, пестрела бесконечным множеством частных, но эти частности представляли невероятную мешанину, на которой ни его слушатели, ни он сам не могли обосновать его туманного общего вывода. Получалась какая-то странная смесь синтеза с анализом, где синтез не покоился на анализе, а анализ как бы обладал свойствами синтеза, так как ему подвергалось не одно какое-нибудь явление, а множество самых разнородных явлений. Вообще, Башмаков представлял весьма своеобразную и с точки зрения психологической любопытную фигуру, преисполненную невероятных противоречий. Воспитанный и получивший высшее образование за границей (в Швейцарии и Франции), он, казалось бы, должен был проникнуться идеалами западной культуры, а на деле был убежденным народником в его консервативном течении и поклонником самодержавия. В соответствии с этим он был, с одной стороны, славянофилом, ярким врагом германизма и деятельным членом Славянского общества²³, причем и сам себя почитал за ученого слависта, а с другой — сторонником общины и, как сказано, особого крестьянского уклада и народного обычного права. Неудивительно поэтому, что, записавшись в 1905 г. в крайние правые партии, он одновременно отстаивал принудительное отчуждение частновладельческих земель. Удивительна дальнейшая судьба Башмакова — этот хаотический по уму, но чрезвычайно оригинальный и живой человек превратился в редактора «Правительственного вестника»! Объясняется это, однако, очень просто. Не обладая никакими собственными средствами, но зато обремененный многочисленной семьей, Башмаков всю жизнь искал какого-нибудь прочного заработка, но по присущим ему свойствам ни на каком деле удержаться не мог. Редактирование «Правительственного вестника» требовало лишь механической работы, ее он и вел, несомненно продолжая одновременно

умственно углубляться в самые разнообразные вопросы без всяких, однако, от этого конкретных последствий.

Третье лицо, рекомендованное мне Плеве и также привлеченное к судебному отделу крестьянского законодательства, а именно к составлению для его применения волостными судами сельского устава о наказаниях, П.П. Шиловский перешел в Министерство внутренних дел из судебного ведомства, где занимал должность судебного следователя. Как личность он отличался огромным честолюбием и достаточной неразборчивостью в средствах для его удовлетворения. Подлаживание к начальству с одновременной безудержной интригой против этого самого начальства, от которой он, по-видимому, не в состоянии был удержаться, составляли его отличительную черту. При всем том Шиловский не был занят исключительно устройством собственной судьбы. Он одновременно живо интересовался общими вопросами, но интересовался ими только по-дилетантски. Весьма бойко и интересно написанные им «Судебные очерки Англии»²⁴ представляют яркий образчик его дилетантства и отсутствия какой бы то ни было научной не только методики, но хотя бы добросовестности. Вообще же Шиловский, не будучи глупым человеком, отличался в особенности природной талантливостью, причем таланты его не только превосходили его ум, но вообще с серьезным мышлением совершенно не сочетались. Мысли у него рождались самопроизвольно, и подвергать их критическому умственному анализу он не давал себе труда. Такая его особенность, конечно, лишала серьезного значения всякую его работу в области права, где дилетантизм в особенности неуместен и недопустим. Шиловским тем не менее был составлен проект сельского устава о наказаниях, который после многократного коллегиального обсуждения, но с сохранением многих его предположений и после некоторого его перередактирования тем же, упомянутым мною, Петровым вошел в общий, составленный при земском отделе, свод проектов новых крестьянских узаконений.

Назначенный впоследствии при министре внутренних дел А.А. Макарове, с которым он состоял в личных близких отношениях, костромским губернатором, он затеял против него же в 1912 г. сложную интригу на почве предстоящего в 1913 г., по поводу трехсотлетия царствования дома Романовых, посещения Костромы государем. Интрига не удалась, но зато обнаружилась, и он был переведен губернатором же в Олонецкую губернию, а затем вскоре оставил службу совсем.

Упомяну в заключение о В.Г. Петрове, который был составителем проекта сельского устава о договорах, а также, как я уже сказал, дал окончательную редакцию сельскому уставу о наказаниях и правилам о наследовании в наделных землях. Это был еще совсем молодой человек, лишь за год перед тем окончивший университет и служивший на какой-то низшей должности в Министерстве земледелия. Я лично близко знал Петрова еще в бытность его

студентом и мог оценить его незаурядный ум и педантическую точность в формулировании всякой мысли. Переведенный в земский отдел и привлеченный к участию в обсуждении проектов волостного судоустройства, он обнаружил совершенно исключительное юридическое мышление. Это был юрист Божией милостью, и пойдя он по ученой в этой области карьере, несомненно составил бы себе выдающееся имя. Судьба кинула его на службу в Министерство внутренних дел, а затем в Главное управление землеустройства, и здесь ко времени революции он достиг лишь должности вице-директора одного из департаментов этого ведомства, что, впрочем, для его возраста и срока службы было весьма недурной карьерой. Закончу этот перечень лиц, участвовавших в переработке крестьянских узаконений, уже упомянутым мною Г.Г. Савичем, добросовестно составившим проект волостного судоустройства и судопроизводства.

По мере подбора сотрудников налаживалась и сама разработка проектов новых узаконений о крестьянах. Происходила она приблизительно таким же порядком, которым был составлен мною с Литвиновым и Глинкой проект положения о крестьянском общественном управлении, с той разницей, что к обсуждению первоначальной редакции проектов привлекались самые разнообразные лица. Так, к постоянному участию в разработке положения о землепользовании крестьян был привлечен А.В. Кривошеин, бывший в то время начальником переселенческого управления. Однако фактически Кривошеин от этого участия всячески уклонялся, либо вовсе не являясь на наши собрания, либо храня на них упорное молчание. Весьма деятельное участие принимал, наоборот, в особенности при выработке правил об отмежевании надельных земель, управляющий межевой частью Министерства юстиции Рудин. Наконец, приглашались и другие лица при обсуждении каких-либо отдельных частей вырабатываемых проектов, из числа специально знакомых с предметом, которого они касались. Председательствовал при этом А.С. Стишинский, который был поставлен, таким образом, во главе всего дела.

Чем, собственно, руководствовался Плеве, передав мне все распоряжение этим делом, а именно подбор сотрудников, распределение между ними работы, а впоследствии и окончательное закрепление редакции разрабатываемых проектов и одновременно поручив Стишинскому участвовать в нем, и притом в качестве старшего и председательствующего на наших собраниях, я не знаю. Думаю, однако, что это произошло не только из желания не обижать Стишинского полным его устранением от него, а также не исключительно по соображениям формальным и иерархическим, но вследствие желания приставить ко мне в качестве жандарма твердого блюстителя консервативных начал. В моем консерватизме, по крайней мере в области крестьянского вопроса, Плеве, по-видимому, не был уверен. С другой стороны, он прекрасно и с давних пор знал Стишинского, знал его чрезвычайную добросовестность в работе, но и чрезвычайную

медлительность. От избытка добросовестности Стишинский, почитавший своей священной обязанностью внимательнейшим образом читать все представляемые ему на подпись бумаги и обращавший внимание не только на их содержание, но даже на стиль, задерживал их у себя неделями и даже месяцами. Отмечу при этом весьма симпатичную черту Стишинского — абсолютное отсутствие у него при разрешении любого дела каких бы то ни было посторонних соображений. В то время как во многих ведомствах в ту эпоху относились к содержанию той или иной поступившей бумаги в зависимости от того, кем она подписана, а именно — самим ли министром или его товарищем, а если самим министром, то каким, т.е. имеющим ли вообще в данное время вес и влияние или находящимся на закате, причем к бумагам, подписанным Витте, относились с особым почтением, Стишинский не обращал на это никакого внимания и одинаково добросовестно и объективно относился ко всякому делу, от кого бы оно ни исходило и кем бы оно ни поддерживалось или оспаривалось. Примечательно и то, что при возникновении каких-либо вопросов о землеустройстве крестьян, где бывали замешаны весьма крупные интересы как крестьян, так и землевладельцев, он, быть может, бессознательно, но неизменно поддерживал народническую точку зрения, т.е. отстаивал интересы крестьян. Особое внимание обращал Стишинский на рапорты в Сенат, содержавшие заключения Министерства внутренних дел по поступающим в Сенат жалобам на решения местных крестьянских учреждений. Дело в том, что решения Сената по этим делам имели принципиальное, руководящее значение, и, в сущности, узаконения о крестьянах к началу нынешнего века покоились преимущественно на постановленных за истекшие со времени освобождения крестьян сорок лет решениях Сената, нежели на самом законе, крайне бедном по заключающимся в нем правилам.

Последствием щепетильной добросовестности Стишинского, присущей ему во все времена, явилось то, что он еще в бытность управляющим земским отделом задерживал представление в Сенат требуемых им заключений и в результате передал своему заместителю Савичу изрядное количество подобных дел, ожидавших в течение многих лет окончательного разрешения. Со своей стороны Савич, этими делами вовсе не интересовавшийся, не только не уменьшил их количество, а, наоборот, значительно приумножил. Ко времени назначения Плеве число этих дел превысило 800, причем некоторые из них, преимущественно касавшиеся Юго-Западного края, где земельные отношения были чрезвычайно запутанны, имели свыше 25-летней давности. Именно это обстоятельство было ближайшей причиной увольнения Савича и временного возложения на Стишинского управления земским отделом. Плеве потребовал при этом, чтобы все упомянутые дела были не позднее конца года ликвидированы, что и было фактически исполнено, хотя потребовало громадной работы от Стишинского, а отчасти и от земского отдела; говорю отчасти, ибо по большинству этих дел проекты рапортов в Сенат были отделом давно приготовлены и лишь ожидали подписи товарища

министра, но так как Стишинский с мнением отдела часто не соглашался, то приходилось эти рапорты пересоставлять, и притом многие по несколько раз.

Зная эти свойства Стишинского — его медлительность и нерешительность, Плеве вполне сознавал, что возложить на него ответственность за работы по пересмотру крестьянских узаконений значило похоронить их. Знал, разумеется, Плеве и основное свойство Стишинского, а именно чрезвычайную узость его умственного горизонта. Разбираться в основных чертах какого-либо дела Стишинский был не в состоянии; внимание его неизменно прицеплялось к тем мелким подробностям, из которых оно слагалось, и выбраться из этих подробностей он не мог. Творческой фантазии в нем не было и помину. Одновременно знал, однако, Плеве и другую особенность Стишинского, а именно его природную непоколебимую приверженность ко всему существующему, и поэтому он был уверен, что его участие в разработке новых узаконений о крестьянах вполне удержит от сколько-нибудь стремительного новаторства. Действительно, Стишинский при разработке и обсуждении любых законопроектов исходил из положений действующего закона и всякую новеллу органически отвергал. Делал он это совершенно бессознательно и, несомненно, был бы удивлен и даже обижен, если бы ему это кто-либо сказал. Однако самое удивительное (чего Плеве не знал) — это то, что коль скоро какая-либо новелла, даже такая, против которой он первоначально упорно возражал, проникала в законодательство, так он тотчас же не только с ней примирялся, но высказывался за ее строжайшее соблюдение и против всякого ее видоизменения столь же горячо возражал, как ранее упорно противился ее установлению. Если таково было вообще отношение Стишинского ко всякой, даже незначительной реформе, то по отношению к узаконениям о крестьянах оно выражалось с особенной яркостью. Институт земских начальников, как я уже упоминал, был его любимым детищем, и все, что в его представлении было способно умалить значение этого института, встречало с его стороны искреннее негодование. Выражалось это и отражалось на ходе дела в особенности тем, что, участвуя по должности товарища министра во 2-м департаменте Сената, он с необыкновенным упорством и энергией отстаивал обжалованные решения местных крестьянских учреждений.

Кроме того, Стишинский когда-то в далекой молодости составил вместе с неким Матвеевым небольшой, в несколько десятков страниц, сборник крестьянских обычаев в области наследования²⁵ и поэтому почитал себя за обязательного защитника крестьянского сословного, руководствующегося обычаями суда.

Все эти отличительные свойства Стишинского были известны, хотя не в полной мере, и мне, так как я имел с ним дело еще по работе в Особом совещании по делам дворянского сословия, управляющим делами которого он состоял, и меня, конечно, смущало, как при этих обстоятельствах пойдет у

нас совместная работа и какие установятся личные отношения. На деле, однако, и то и другое наладилось без всякого труда и без малейших трений. Обусловлено это было двумя свойствами Стишинского весьма различного порядка. Первое из них состояло в том, что в представлении Стишинского юля и мысль всякого начальства были столь же священны и подлежали столь же строгому соблюдению, как действующий закон. По отношению же к Плеве, своему долголетнему начальнику, Стишинский держал себя в высшей степени подчиненно и никакие его решения никогда не оспаривал. Таким образом, коль скоро Плеве признал соответственным поручить другому лицу руководство, по существу, работами по пересмотру узаконений о крестьянах, а ему предоставил лишь председательствование в коллегиальном обсуждении выработываемых законопроектов, так Стишинский этому всецело подчинился. Другая причина, приведшая к установлению между нами наилучших отношений, была исключительная личная порядочность Стишинского. Абсолютно чуждый всякой интриге, лишенный к тому же чувства зависти и мелкого самолюбия, Стишинский вполне удовольствовался той ролью, которая была ему предоставлена, и ни прямо, ни косвенно не стремился ее изменить.

В результате молчаливым между нами соглашением установился такой порядок, что большинство текущих дел по земскому отделу, в том числе почти все рапорты в Сенат, проходили мимо меня непосредственно к Стишинскому, который объяснялся по их поводу с моими сотрудниками, все же дела общего значения, а равно возникающие принципиального значения текущие дела, равно как все личные назначения по крестьянским учреждениям, проходили мимо Стишинского и докладывались мною непосредственно Плеве. Правда, доклады эти по обычаю должны были происходить в присутствии товарища министра, т.е. Стишинского, но на практике и этот порядок был отменен, так как Плеве назначил мне временем доклада те дни и часы, когда Стишинский должен был присутствовать во 2-м департаменте Сената. При этом Плеве отнюдь не скрывал, что делал это вполне сознательно, неоднократно встречая меня фразой: «Так как сегодня Александра Семеновича нет, нам можно говорить по душам».

Словом, создалось такое положение, что Стишинский не только не вмешивался в управление земским отделом, но был совершенно вне курса того, что в нем делается: многие выработанные в отделе законопроекты отправлялись на заключение ведомств, а затем представлялись в Государственный совет при полном неведении Стишинского о самом их существовании. И вот тут-то в особенности обнаруживалась необыкновенная добросовестность Стишинского. Дело в том, что в Государственном совете представления Министерства внутренних дел по земскому отделу должен был защищать он же, причем, однако, узнавал он об этом обыкновенно лишь за несколько дней до их слушания. И вот Стишинский в Государственном совете защищал эти представления во всех их мельчайших подробностях и

лишь накануне их рассмотрения Советом, обычно в очень поздние часы ночи — мы оба занимались по ночам, спрашивал меня по телефону, как ему наиболее убедительно мотивировать то или иное предположенное правило, которое ему не совсем понятно.

Свою добросовестность и совершенно исключительную деликатность по отношению ко мне Стишинский проявлял и в другом отношении, а именно — он считал своим долгом по всякому представлявшемуся ему важным делу, дошедшему до него помимо меня, спрашивать мое мнение. Происходило это также исключительно по ночам и по телефону, что, признаюсь, меня иногда просто бесило, так как то, что Стишинскому представлялось исключительно важным, в моем представлении имело лишь весьма малое значение, а объяснения по телефону, продолжавшиеся иногда часами, я просто ненавидел. Но, как я ни убеждал Стишинского, что мне совершенно безразлично, как Сенат решит то или иное дело, — наши телефонные разговоры касались преимущественно этих дел, — он все же в течение продолжительного времени продолжал таким путем спрашивать мое мнение, пока, наконец, не убеждался, что ничего путного от меня не добьется.

Впрочем, бывало, что мои сослуживцы, не особенно его любившие за его мелочность, никак не могли сговориться со Стишинским по какому-либо делу и в таком случае обращались ко мне с просьбой лично с ним переговорить, но обычно я, для скорости, направлял такие дела иначе, а именно — просто представлял их на подпись Плеве, который всегда подписывал подобные бумаги, не читая. Сам же Стишинский этого даже не подозревал, так как про всякое дело, уходящее из его непосредственного поля зрения, он тотчас забывал.

Столь же благополучно наладилось у нас и рассмотрение под председательством Стишинского проектов новых законоположений о крестьянах. Правда, вначале Стишинский стремился свести всю эту работу к введению в закон лишь последовавших в разъяснение действующего закона многочисленных сенатских решений, иначе говоря, к простой кодификационной работе, которую он тем более любил, что именно этим был исключительно занят на своей предшествующей должности товарища государственного секретаря. Однако на этой позиции он удержался недолго, и я решительно не помню ни одного, даже мелкого, случая, когда бы он в конечном результате не согласился с моим мнением. В крайних случаях мне достаточно было сделать видимость уступки, состоящей в некотором изменении редакции предположенного новшества, чтобы получить и его согласие. При этом также проявлялась основная особенность Стишинского, а именно преклонение перед совершившимся. Согласившись, иногда после довольно упорных возражений, с каким-либо новым принципом, он уже почитал его священным и горячо поддерживал всякие предположенные способы его осуществления на практике. Именно это произошло с вопросом

о поощрении крестьян выселяться на хутора и комассировать²⁶ свои наделные земли в отрубные участки. Считая первоначально, что это будет содействовать разрушению общины, неприкосновенность которой он, конечно, отстаивал, Стишинский против признания этой меры, принципиально желательной, в течение нескольких длительных наших совещаний упорно возражал, когда же, наконец, согласился, то превратился в самого горячего ее сторонника. При таких условиях участие Стишинского в разработке проектов новых узаконений о крестьянах не только не было вредным, а, наоборот, весьма полезным как редкого знатока всей обширной сорокалетней сенатской практики, несомненно осветившей многие стороны крестьянского быта и распорядков.

Восстанавливая в памяти образ Александра Семеновича, вспоминая неизменно существовавшие между нами лучшие отношения, невзирая на все различие наших политических взглядов, причем различие это становилось с годами все более резким, я не могу еще раз не подчеркнуть удивительное благородство его характера и чрезвычайную скромность. Я не знаю другого такого человека, который мог бы примириться с теми условиями, в которые нас поставил Плеве; я не встречал людей, согласных столь добродушно и без малейшего чувства внутренней обиды или горечи превратиться в подручного лица, иерархически ему подчиненного. Конечно, этому помогало то обстоятельство, что Александр Семенович искренне был убежден в первостепенном жизненном значении тех дел, которые достались на его долю. Тем не менее Стишинский не мог не сознавать, да он этого, впрочем, и не скрывал, что о существе дела, которым он будто бы ведал, он не осведомлен. Не испытывать при таких условиях ни малейшего чувства неприязни ко мне, что в полной мере сказалось после кончины Плеве, когда у него уже не могло быть никаких своекорыстных побуждений выказывать мне прежнюю дружбу, мог только человек глубоко порядочный и всецело лишенный мелкого самолюбия. Да, Стишинский был, несомненно, человеком, смотрящим на белый свет не иначе как через чрезвычайно узкую щель, но вместе с тем искренне преданным порученному ему делу и горячо любящим Россию. Чванства, горделивости в нем совершенно не было, а его покорность судьбе была необычайна. С особой силой проявилась эта черта у Стишинского уже после революции, когда, лишенный всяких средств, он вынужден был для обеспечения себе пропитания служить сначала в Одессе, а потом в Крыму переводчиком при французской миссии, получая за это ничтожное вознаграждение. Надо было видеть, с каким достоинством, без всякого кривлянья, спокойно и безропотно подчинялся он судьбе и как, почти семидесятилетний старик, привыкший в течение всей своей жизни к комфорту и довольству, мужественно переносил всевозможные лишения и бедствия. Правда, первоначально революция его сразила. Арестованный при Временном правительстве без предъявления ему каких-либо обвинений, он просидел в одном из казематов Петропавловской крепости свыше месяца и вышел оттуда физически и нравственно разбитым. Я видел его почти тотчас

после его освобождения из-под ареста и был поражен как происшедшей в нем переменой, так и отсутствием у него какой-либо злобы к лицам, ни за что ни про что подвергшим его тяжкому оскорблению. Видел я его засим в последний раз в Крыму осенью 1920 г., во время нахождения там армии генерала Врангеля, и вновь изумился, но на этот раз уже тому, насколько он легко, а следовательно, мужественно, перенес все бесчисленные испытания, которые выпали на его долю за истекшие уже к тому времени почти четыре года революции. Эвакуированный затем в Константинополь, Стишинский прожил там еще больше года, продолжая зарабатывать себе скудное существование упорным личным трудом. Но силы его, очевидно, уже иссякли, и первая схваченная им простуда уложила его в могилу. Мир покоящемуся на чужбине праху его!

Возвращаюсь к ходу работ по пересмотру узаконений о крестьянах. Как я Уже сказал, главная цель, которую я преследовал при этом, — добиться так или иначе, правдами или неправдами, уничтожения земельной общины и перехода крестьян к личному и по возможности обособленному владению как надельными, так и приобретенными ими в составе обществ и товариществ землями. В этом вопросе надо было, разумеется, считаться прежде всего с мнением Плеве. На деле, однако, оказалось, что определенного мнения у него по этому коренному вопросу не было. С одной стороны, ему казалось, что общинная форма землевладения составляет неотъемлемую особенность всего крестьянского уклада. В этом его, между прочим, поддерживали однажды вызванные им в Петербург представители правого крыла московского дворянства и земства, мнением которых он весьма дорожил. При их участии состоялось у Плеве особое совещание, где обсуждались те главные основания, на которых надлежало бы произвести весь пересмотр узаконений о крестьянах. Среди участвовавших в этом совещании припоминаю в настоящее время лишь Ф.Д. Самарина, туманно развивавшего туманный славянофильский взгляд по этому вопросу. Совещание это, имевшее, впрочем, характер беседы, причем Плеве даже не пригласил на него Стишинского, никаких заключений не формулировало и вообще ни к чему определенному не пришло, но по вопросу об общине голоса москвичей определенно раздавались за ее всемерное сохранение. С другой стороны, Плеве не мог не признавать, что понятие о праве собственности может быть прочно внедрено в русское крестьянство лишь при условии превращения самого земельного крестьянства в полноправного собственника состоящей в его пользовании земли. Несомненно влияло на Плеве, в смысле, разумеется, несколько отрицательного отношения к общине, то обстоятельство, что социалистически и революционно настроенные круги с жаром поддерживали общинное землепользование. Однако на сколько-нибудь решительную меру в этом направлении, как по малому знакомству с этим вопросом, что он, конечно, сознавал, так вообще от отсутствия у него широкого реформаторского размаха, Плеве, конечно, не был способен. В результате, по правде сказать, никаких определенных

указаний по этому предмету Плеве не дал. Было *implicite*²⁷ признано, что о насильственном, принудительном, силою закона, упразднении общины речи быть не может; что же касается мер, способствующих естественному распаду общины и степени их желательности, ничего заранее установлено не было. Для меня стало ясно, что вести открытую борьбу против общины как таковой не приходится, что таким путем никаких результатов достигнуть нельзя. Необходимо было действовать в этом направлении постепенно и по возможности прикрываться каким-либо другим флагом; надо было перенести спор об общине в иную плоскость, говорить не о ней, а вообще о рациональном землеустройстве, при котором переход крестьян к личному землевладению хотя и входил непременно элементом, но не составлял сам по себе конечной цели. При такой постановке вопроса целью являлось разрешение задачи, по существу бесспорной, а именно повышение производительности земли, состоявшей в пользовании крестьян. В соответствии с этим я приложил все усилия к перенесению центра тяжести в проекте нового положения о землепользовании крестьян на те его разделы, которые касались собственно землеустройства крестьянских владений. Были разработаны подробные правила, имеющие в виду уничтожение дробности и чересполосности крестьянских земель, а также так называемого дальнего и длинноземелья. Эти чрезвычайно распространенные в средней черноземной полосе и не чуждые Малороссии существенные недостатки крестьянских владений, присущие как общинному, так и подворному земельному строю, можно упразднить лишь путем расселения крупных сел на мелкие поселки, а посему были облегчены все существовавшие формальные препятствия к такому расселению, прежде всего посредством предоставления определенному числу крестьян, входящих в состав общины, права выселиться из пределов общего селения в отдельный поселок, владеющий принадлежащими ему землями в более компактной окружной меже, чем достигается приближение полевых земель к селитьбенному месту. Однако вполне устранить эти недостатки, а главное, предоставить право каждому крестьянину вести свое хозяйство вполне самостоятельно, вне зависимости от общепринятой в крестьянской среде системы полеводства, иначе говоря, дать ему возможность постепенно перейти к более интенсивному землепользованию с многолетними и плодoperеменными севооборотами, можно только при сведении всей состоящей в его пользовании земельной площади в одной окружной меже, иначе говоря — в один отрубной участок. В соответствии с этими идеями в области крестьянского землеустройства основной и конечной целью было признано распределение всех крестьянских земель на отдельные самостоятельные участки с перенесением в их пределы жилых и хозяйственных строений, т.е. образование отдельных хуторов. Однако само собою разумеется, что хуторская система крестьянского землевладения осуществима только при праве личной собственности на землю. Община, по самому своему существу, вполне обособленного землепользования без самоупразднения Допустить не может, так как передел земли, как всякому известно, при нем фактически неосуществим. Тем не

менее в таком виде меры, направленные к предоставлению отдельным членам общины права выхода из нее, с одновременным выделением в их личную собственность причитающейся им доли общинной земли, утрачивали характер юридический, направленный к распаду общины, приобретая значение меры экономической, пре следующей повышению в крестьянской среде уровня сельскохозяйственной техники, т.е. крестьянского благосостояния.

Конечно, это был фортель слегка парадоксального свойства, и притом впоследствии несколько извративший правильное осуществление высочайшего указа 9 ноября 1906 г. о праве выхода из общины. Действительно, лица, осуществлявшие этот указ, руководствовались в своей работе изложенными, выработанными в земском отделе правилами, очевидно даже не подозревая, что при их составлении не предполагалось ни их точного осуществления, ни даже их превращения в закон. Составлены они были в надежде, что при их рассмотрении местными деятелями последние в большинстве выскажутся за более решительное и быстрое разрушение общины и насаждение хотя бы подворного землевладения и не свяжут этой необходимой юридической меры, могущей быть проведенной в весьма короткий срок, со сложными и длительными работами собственно по землеустройству. Мне казалось, что нужно было лишь ввести мысль в иное, чуждое политики, экономическое русло, чтобы для всех стала понятна необходимость закрепления за крестьянами владимой ими земли на праве личной собственности.

Для меня же при этом было очевидно, что сразу перейти от общинного владения к хуторскому крестьяне многих областей России не были в состоянии за отсутствием ряда других, необходимых для сего условий. Предположенный порядок, несомненно, перескакивал целый этап естественной эволюции крестьянского землепользования. Непосредственный переход от общинного землепользования, минуя естественный промежуточный этап личного подворного владения, конечно, трудно осуществим в сколько-нибудь широком размере. Для меня это был лишь тактический прием, при помощи которого можно было при существовавшей тогда общей конъюнктуре провести под правительственным штемпелем товар, почитавшийся за контрабандный, разрушение общины. Пользуясь этим приемом, избегалась необходимость говорить об общине по существу и возможно было, наоборот, связать воедино как общинное, так и личное подворное крестьянское землевладение, так как обе эти формы с точки зрения экономической обладают одинаковыми недостатками. Как я уже сказал, весь центр тяжести был перенесен в область сельскохозяйственную, причем переход от общинного к личному землевладению в юридическом отношении являлся лишь естественным и неизбежным последствием, а не самоцелью.

При этом по необходимости право отдельных крестьян выйти из общины с выделением в их личное владение обособленного, соответствующего причитающейся им доле общинной земли участка было ограничено определенными случаями. Оно предоставлялось отдельным крестьянам лишь при производстве общиной очередных земельных переделов, а в другое время — лишь в случае заявления о желании выйти из общины группой крестьян, если память не изменяет, не менее 20 или составляющих не менее 1/5 общего числа домохозяев данной общины.

Весьма любопытно, что совершенно однородное правило было единогласно проектировано на состоявшемся в марте 1922 г. в Москве агрономическом съезде, хотя участниками этого съезда были в подавляющем числе либо коммунисты, либо социал-демократы, причем лица не социалистического образа мысли были лишены возможности свободно или, вернее, безнаказанно их высказывать.

Подчеркну еще раз, что для меня главное, если не все, значение производившихся в описываемое время работ состояло в том, чтобы выявить основные недостатки нашего крестьянского строя и одновременно создать в виде выработанных проектов ту канву, на которой местные люди, введенные в известный круг вопросов и как бы вдвинутые в определенное русло мышления, могли бы вышить узоры, соответствующие действительному положению вещей.

В вопросе о крестьянском общественном управлении я стремился навести мысль на создание всесословной волости, причем в соответствии с этим проект сельского и волостного общественного устройства строил на таком расчете, чтобы путем незначительных введенных в него редакционных изменений он мог быть превращен в проект устройства всесословного сельского и волостного общества.

В вопросе о крестьянском землепользовании основной целью было раскрытие полной невозможности поднять крестьянское благосостояние без предварительного разрушения общины и одновременно наметить те широкие задачи по землеустройству крестьян, приступить к осуществлению которых можно только после признания за крестьянами права личной собственности на состоящие в их владении земли. В этом вопросе я опять-таки надеялся, что местные люди укажут на необходимость принять значительно более решительные меры, нежели я имел возможность внести в составлявшиеся в земском отделе проекты.

Что же касается волостной судебной реформы, а именно проектов волостного судопроизводства и судоустройства и предположенных сельских уставов о наказаниях и договорах и правил о наследовании надельными землями, то я ими интересовался в значительно меньшей степени. Не будучи

ни юристом-практиком, ни даже юристом по образованию, я, естественно, не мог иметь в этом вопросе компетентного мнения. С житейской же точки зрения мне казалось, что если невозможно распространить на все население страны действие общих судебных установлений, чему, несомненно, препятствовали многие материальные причины, и прежде всего недостаток нужного количества лиц с соответственным образовательным цензом для занятия судебных должностей во всех сельских местностях — число наших волостных судов превышало 28 тысяч, а также отсутствие у казначейства достаточных денежных средств для их оплаты и, наконец, немыслимость обязать волостной крестьянский суд руководствоваться X томом Свода законов, то все же лучше по возможности, усовершенствовать волостное судопроизводство и судоустройство и дать волостным судьям хотя бы какие-нибудь писанные нормы права, нежели оставлять их в том первобытном положении, в котором они фактически находились, и предоставить им по-прежнему применять фактически в большинстве местностей и по большинству вопросов несуществующее и, во всяком случае, туманное и расплывчатое обычное право. Естественно, что при таких условиях я вообще не добивался составления совершенных во всех отношениях проектов крестьянских узаконений, тем более что я вполне сознавал, что ранее их превращения в закон они пройдут еще множество разнообразных стадий, в течение которых, по окончательном выяснении положенных в их основу принципиальных положений, возможно и должно будет их усовершенствовать. Но чему я придавал огромное значение — это спешности. Зная по опыту, как нестерпимо долго тянулось у нас прохождение всякого сколько-нибудь значительного закона, я считал нужным прежде всего считаться с элементом времени.

К сожалению, совершенно иного взгляда придерживался Стишинский. Как по присущей ему добросовестности, так и по врожденному у него отсутствию способности заглянуть сколько-нибудь вперед и предусмотреть ход событий, ему представлялось, что каждая статья проекта уже завтра превратится в закон и, во всяком случае, не подлежит ни малейшему изменению. На передачу выработанных проектов на обсуждение местных людей он смотрел как на формальность, от которой лично охотно бы отказался. Возможности изменения заложенных в проекты основных положений он, конечно, совершенно не допускал, но высказать ему мой взгляд на это я лишен был возможности. При таких условиях он невольно несколько затягивал окончание работы.

Хотя мы собирались в весьма разнообразном составе для совместной работы в течение всей зимы 1902—1903 гг. не менее трех раз в неделю, причем наши поневоле вечерние — так как день был занят текущей работой — собрания нередко затягивались далеко за полночь, все же к лету 1903 г., т.е. приблизительно через шесть месяцев от начала работ, ничего вполне закончено не было. Были разработаны отдельные части различных проектов,

но между собою еще не согласованы. Работы, проведенные Шиловским и Башмаковым, были, можно сказать, в хаотическом состоянии. Объяснительные записки, в особенности постатейные объяснения, также не были еще закончены. Совершенно отсутствовала общая объяснительная записка, разъясняющая в кратких чертах основные положения выработанных проектов и дающая сжатое изложение содержащихся в них отдельных правил.

За множеством других работ ни я, ни мои сотрудники не могли всецело сосредоточиться на реформе крестьянского законодательства. Действительно, одновременно в земском отделе был разработан весьма сложный проект ликвидации сервитутных прав (28) крестьян на частновладельческих землях в девяти западных губерниях, причем для его обсуждения было созвано весьма многочленное совещание с участием лиц из местной администрации, а равно местных землевладельцев. Одновременно разрабатывался и рассматривался в основных чертах, под председательством самого Плеве, при участии некоторых председателей губернских земских управ, проект новой постановки всего продовольственного дела. Между тем я твердо решил, что к концу 1903 г. вся работа по крестьянскому делу, в ее первой стадии, должна быть не только закончена, но технически завершена, т.е. напечатана.

Словом, я вскоре убедился, что единственный способ закончить работу в намеченный срок — это временно освободить себя и главных моих сотрудников от всяких иных занятий, что было, однако, возможно, лишь физически оторвав и себя и их от земского отдела. С этой целью я испросил у Плеве разрешение уехать недель на шесть из Петербурга к себе в имение под Тверью, захватив с собою несколько лиц, которые дадут окончательную законченность всей произведенной работе. Плеве на это охотно согласился, и в половине июня я выбрался из Петербурга вместе с пятью лицами, а именно Зубовским, Цызыревым, Шиловским, Зноско-Боровским и Петровым. Работа в деревне у нас закипела. Весь день мы посвящали работе, а по вечерам совместно обсуждали возникшие в течение дня при производстве работы сомнения и недоразумения. При этом Зубовский приводил в окончательный вид положение о землепользовании крестьян, а также проект правил об ограничении крестьянских наделных земель, причем заканчивал объяснительные к ним записки. Шиловский и главным образом Петров заканчивали работы по волостной судебной части, а Цызырев и Зноско-Боровский работали над отделкой положения о крестьянском общественном управлении, дополненного правилами о мирских крестьянских сборах. Я, со своей стороны, просматривал всю произведенную ими работу и взял на себя составление общей ко всем работам объяснительной записки, часть которой, а именно касающаяся крестьянского общественного управления, была, впрочем, в первоначальной редакции написана Цызыревым.

При составлении этой записки я прибег к фортелю, а именно учредил особую, анонимную, будто бы образованную при Министерстве внутренних дел редакционную комиссию по пересмотру узаконений о крестьянах, с указанием, что она состоит под председательством товарища министра Стишинского, и повел все изложение дела от ее имени, причем вложил ей в уста разнообразные, будто бы ею высказанные соображения и суждения, в действительности никогда и никем при производстве работы не произнесенные. Прием этот представлялся мне наиболее удобным ввиду того, что произведенные работы не должны были носить штампа министерства, т.е. иметь санкцию самого министра: министерство как таковое в моем представлении не должно было быть ни в чем связано произведенной работой, мнение его должно быть высказано им лишь после рассмотрения выработанных проектов на местах при участии лиц, как было сказано в обнародованном 26 февраля 1903 г. манифесте, «доверием общественным облеченных».

Сама записка была разделена на три части. В первой части изложены существующие недостатки крестьянского общественного управления и одновременно указаны те причины, по коим слияние крестьян в порядке их управления с остальными сословиями является преждевременным. Вторая часть заключала резкую критику действующих волостных судов и господствующих в них порядков, причем она заключала указание на то, что благодаря отсутствию твердых норм права, которыми бы руководствовался волостной суд, крестьяне не знают ни своего, ни чужого права, ни своих, ни чужих обязанностей. Наконец, в третьей части были перечислены все многочисленные и разнообразные недостатки в области землепользования и землеустройства крестьян и развита та основная мысль, что крестьянское благосостояние зависит от степени возможно быстрого устранения этих недостатков, после чего перечислялись предположенные в этом направлении меры.

Возвратившись по окончании работы в Петербург, я тотчас представил в печатном корректурном экземпляре составленную записку Плеве, который внимательно ее прочел, о чем я мог судить по некоторым, правда незначительным, введенным им лично в нее изменениям.

К сожалению, сохраненный мною экземпляр записки с собственноручными замечаниями Плеве не только не имеется у меня теперь в руках, но, по всей вероятности, вообще погиб вместе со всеми моими обширными семейным и личным архивами, и поэтому я не могу в точности указать, что именно обратило особое внимание моего тогдашнего шефа. Насколько мне помнится, изменения Плеве сводились к некоторому смягчению критики крестьянского самоуправления и волостного суда. Я должен к этому прибавить, что чтением этой записки и ограничилось ознакомление Плеве с выработанными проектами, основные положения которых ему хотя, конечно,

и были известны, но далеко не в полной мере. Плеве был, однако, прав, когда не желал тратить на это время, так как вполне понимал то, чего Стишинский не был в состоянии усвоить, а именно, что до превращения проекта в закон он неизбежно пройдет через многие превращения. Записка же интересовала Плеве потому, что она предназначалась для государя и в случае ее одобрения должна была быть тотчас опубликована во всеобщее сведение.

Замечательно, что единственное лицо, фактически ответственное за содержание записки, а именно Стишинский, так как от имени будто бы возглавляемой им комиссии она была написана, не принимал никакого участия ни в ее составлении, ни в ее утверждении, причем не выразил по этому поводу ни удивления, ни неудовольствия.

По одобрению записки государем она была целиком напечатана в «Правительственном вестнике» (29) и вызвала довольно оживленные суждения в повременной печати. Со стороны передовой печати изложенные в записке предположения, разумеется, подверглись всесторонней критике и в общем не встретили сочувствия. Либеральные органы при этом не преминули отметить противоречие между признанием волости сплошной территориальной единицей и приведенными по этому поводу мотивами и ограничением состава волостного общества лицами бывших податных сословий.

Помещенные в объяснительной записке фразы: «Те интересы и дела, которые вверяются заведованию волостных обществ, представляются не узкими интересами внутреннего благоустройства отдельных поселков, а более широкими интересами общественного хозяйства и управления, касающимися известного района уезда. В этом смысле волостная организация имеет некоторые черты земской организации, а потому принадлежность к составу волостных обществ должна определяться главным образом признаками владения имуществом в пределах волостной территории», — были воспроизведены едва ли не во всех органах либеральной прессы; «Вестник Европы» при этом указывал (30), что из заключающихся в этих фразах «беспорных выражений вытекает, по-видимому, только один логический вывод: волость, как обнимающая всю территорию данного района и соприкасающаяся по своим задачам с земскими учреждениями, должна быть всеобщей». «Однако редакционная комиссия, — продолжает «Вестник Европы», — ничего не говоря о причинах, побуждающих ее отступить от только что принятых ею предпосылок, ограничивает состав волостного общества лицами податных сословий».

Такое же противоречие отметила пресса и в трудах комиссии, касающихся волостной судебной части. Тут приводились следующие суждения, заключавшиеся в составленной мною объяснительной записке: «Одновременное существование в государственной жизни двух отдельных

систем государственного права: писаного, т.е. общего гражданского закона, и неписаного, т.е. обычаев, применяемых во внутренних отношениях известной группы и слоев населения, не может не вызвать между ними постоянной борьбы, результатом которой всюду и всегда является победа закона над обычаем. Законодатель должен не только не препятствовать гражданско-правовому сближению крестьянства с остальными сословиями, но, напротив, всячески способствовать этому сближению, ибо население страны может сплотиться в цельный и сильный общественный организм не прежде, чем все его составные части придут к полному объединению в сфере гражданского права». Суждения эти либеральная пресса признавала азбучными истинами и выражала удивление, что в явный разрез с ними тем не менее редакционная комиссия проектировала сохранение волостного суда и вооружение его писаными кодексами, не вполне согласованными с соответствующими отделами X тома Свода законов и представляющими сводку почти отрицаемых самой редакционной комиссией обычаев.

Мысли эти, однако, не разделялись всеми либеральными элементами страны. Так, гр. Беннигсен, впоследствии член Государственной думы, принадлежавший к левому крылу октябристов, в брошюре под заглавием *К вопросу о пересмотре крестьянского законодательства»³¹, заключающей весьма либеральные положения и в общем одобренной либеральной печатью, высказывался за сохранение волостной судебной юрисдикции и против распространения на крестьян общего гражданского кодекса. «Начало справедливости, — писал он, — лежит в основе всех решений волостных судов и служит тем кодексом, из которого они почерпают мотивы для их обоснования». «В нашем волостном суде, — говорил он далее, — есть все задатки для того, чтобы стать истинным выразителем народного правосознания».

Столь же решительно высказывался в том же смысле на страницах «Вестника Европы» примыкавший к народническому течению публицист Слонимский, говоря, что «у крестьян свое правовое творчество»³².

Такая же разногласия обнаружилась по-прежнему и в вопросе об общинном землепользовании, хотя надо сказать, что самый важный отдел трудов редакционной комиссии, а именно о землепользовании крестьян, подвергся наименьшему обсуждению. Очевидно, что за той, правда пустой, оболочкой предположенных в нем мер экономического свойства, а в особенности сопровождавших эти меры мотивов, пресса не усмотрела их глубокого политического значения, не поняла, что это скромный, но решительный поход против земельной общины. Наиболее прозорливой оказалась в этом отношении крайняя левая пресса. Так, «Русское богатство» прямо указало, что весь проект направлен к «искусственному расслоению крестьянства», не без основания видя в нем ту «ставку на сильного», которую значительно позднее провозгласил Столыпин. В доказательство того, что у

крестьян общее чувство и общее движение, «Русское богатство» между прочим приводило, что в аграрных беспорядках и грабежах участвовали в одинаковой степени бедные и богатые крестьяне, и из этого приходило к заключению, что это «не грабеж, а стихийное движение».

Само собою разумеется, что противники общины находили, что проект редакционной комиссии не заключал достаточных мер по уничтожению этого зла. Зло это в их представлении было основное. Так, А.П. Никольский в помещенных еще до опубликования проектов в «Новом времени» статьях под заглавием «Крестьяне, община и X том» (33) пророчески указывал, что «в народе зреют опасные зачатки разрушительного социализма, так как условия и порядки общинного быта дают понятие только о собственности общей, а не индивидуальной». Говоря о тех перспективах, которые сулит в будущем обособление крестьянства, он с пафосом восклицал: «Разум, совесть и патриотические чувства возмущаются при одной мысли, что эти печальные перспективы могут стать действительностью».

Словом, в конечном результате довольных выработанными проектами среди передовой, наиболее деятельной части общественности не оказалось вовсе. Однако объясняется это, помимо существующего с давних пор в русском обществе коренного расхождения взглядов в крестьянском вопросе, тем штемпелем, который стоял на этих проектах. Само собою разумеется, что под фирмой редакционной комиссии все видели Министерство внутренних дел или, вернее, главу этого ведомства — Плеве, между тем ко времени появления в печати упомянутой объяснительной записки отношение подавляющей части общества к Плеве было определено и резко отрицательное.

По этому поводу не могу не указать еще на одну особенность Плеве, а именно на неумение его использовать то средство, которым пользуются решительно все правительства и которым умело пользовался Витте, а именно гласностью. Он поддерживал близкие отношения с такими органами печати, как «Московские ведомости» и «Гражданин», которые не только не пользовались влиянием в сколько-нибудь широких общественных кругах, а, наоборот, презирались. Поддержка этих органов только вредила общественному положению Плеве, вредила и тем мерам, которые он проводил. Даже такую благонамеренную газету, как «Новое время», всегда готовую помочь правительству, не сумел Плеве использовать в этом отношении.

Я вынужден признаться, что сам тоже вовсе не заботился об этой стороне дела. Центр тяжести в то время находился еще всецело в известных правительственных кругах, и мне думалось, что на них следует в особенности воздействовать, причем полагался и на то, что, когда местные люди ознакомятся с выработанными проектами, они поддержат и разовьют

те заключающиеся в них правила, которые были направлены к созданию всесословной волости, с одной стороны, и к упразднению общины — с другой. Но я вполне сознавал, что с этим делом надо спешить, и поэтому прилагал все усилия к скорейшему окончательному завершению уже чисто технической части работы, а именно отпечатанию всего нужного количества экземпляров пространных трудов «редакционной комиссии», в существование которой каким-то странным образом, кстати сказать, сам уверовал.

В результате в половине января 1904 г. вся эта работа была закончена, а также составлена подробная программа порядка рассмотрения образованными уже к тому времени Высочайшим указом 8 января губернскими совещаниями посланных на их заключение проектов. Программа эта, имевшая в виду по возможности облегчить сложную работу губернских совещаний, а вместе с тем дать возможность впоследствии без особого труда составить свод их заключений, отнюдь не имела в виду в чем-либо стеснять свободу их суждений. Наоборот, в ней подчеркивалось желание получить определенные ответы на все принципиальные вопросы, связанные с пересмотром крестьянского законодательства, причем в препровожденных опросных листах было обеспечено особое место для выраженных в среде совещаний мнений как большинства, так и меньшинства, а равно особых мнений по вопросам, относящимся к такой постановке крестьянского дела, которая проектом не предусмотрена либо не предположена.

Одновременно мне рисовался и будущий ход дела, а именно я надеялся, что не далее осени 1904 г. заключения губернских совещаний поступят в министерство и что, следовательно, к началу 1905 г. возможно будет на их основании соответственно переработать проекты и представить их в Государственный совет. При этом предполагалось испросить согласие государя на образование в Государственном совете особой комиссии для рассмотрения представленных проектов, подобно тому как это было сделано в отношении нового уголовного уложения, что, разумеется, значительно бы ускорило ход дела и, быть может, привело бы его к окончанию в осеннюю сессию 1905 г.

Меня не смущало то обстоятельство, что в Высочайшем указе Сенату об образовании губернских совещаний для рассмотрения проектов новых узаконений о крестьянах было, между прочим, сказано: «Признали Мы необходимым сохранить за крестьянами сословный строй и неотчуждаемость крестьянских владений надельных земель». Сословный, крестьянский строй вовсе не препятствовал превращению волости во всесословную, что же касается закона о неотчуждаемости надельных земель, то хотя я и признавал его за вредивший и едва ли не более всего остального тормозивший слияние крестьян с другими сословиями, но хорошо знал, что об его отмене в то

время, как, впрочем, и позднее до самой революции, не могло быть и речи. За сохранение этого закона в своем ослеплении стояли одинаково рьяно как все правительство, так и вся сколько-нибудь передовая общественность.

Правительство видело в этом законе обеспечение от внедрения в сельскую среду посторонних крестьянству элементов; общественность усматривала в нем охрану крестьян от их обезземеливания элементом капиталистическим, и в особенности мелкокапиталистическим. Кулак был тем жупелом, которого в особенности в то время пугалась наша сентиментальная, дряблая общественность.

Гораздо более смущало меня то обстоятельство, что в состав губернских совещаний вводились наряду с представителями дворянства, избранными собраниями предводителей и депутатов, члены от земства, приглашенные губернаторами в числе не менее одного на уезд. Такое различие, а в особенности сам факт включения в состав совещаний членов от земства не по их избранию, а по выбору губернаторов должен был сразу восстановить земскую среду против проектированных узаконений. Однако переубедить Плеве в этом отношении не было никакой возможности. Он сказал, что ему довольно опыта учрежденных в 1902 г. уездных сельскохозяйственных комитетов, составленных из лиц по выбору уездных предводителей, чтобы идти дальше по этому пути.

Единственно, чего я мог достигнуть, это согласия Плеве на определенное указание губернаторам, чтобы они не подбирали искусственно в земской среде лиц только правого направления, а приглашали бы наиболее видных земских деятелей независимо от их политических взглядов.

Отчасти с этой целью, но главным образом чтобы ввести губернаторов, имевших председательствовать в губернских совещаниях, в курс спорных вопросов, затрагиваемых узаконениями о крестьянах, я предложил созвать губернаторов в Петербург, разделив их на несколько очередей, с тем что бы здесь им можно было подробно разъяснить основную сущность проектов, а в особенности тот технический порядок, который необходимо было обеспечить для самой возможности использовать труды совещаний.

На это Плеве охотно согласился, и во второй половине января в Петербург съехались губернаторы первой очереди, если не ошибаюсь, числом около пятнадцати. На первом их собрании председательствовал Плеве, причем решительно заявил, что не должно быть и речи о подборе земских деятелей по их политическим убеждениям, что необходимо пригласить в особенности тех земцев, которые известны своим знанием крестьянского быта и крестьянских распорядков. Затем он предоставил мне слово, и я изложил сущность проектов, причем особенно подробно остановился на проекте положения о землепользовании крестьян, указав, что, в моем представлении,

в нем заключается центр всего вопроса. Крестьяне, сказал я, чтобы быть полезными членами самоуправляющейся, хотя бы и сословной, единицы, должны быть прежде всего материально сами обеспечены. Этой обеспеченности крестьянину существующие земельные порядки не только не дают, но всецело ей препятствуют. Если не может быть речи о насильственном упразднении общины, то еще менее допустимо насильственное удержание в составе общины крестьян, желающих из нее выйти на экономический простор.

Далее Плеве предложил участвующим высказаться со своей стороны или предложить какие-либо вопросы, если они таковые имеют. Но здесь, увы, обнаружилась полная неподготовленность большинства прибывших губернаторов. Вопросы, которые они ставили, выказали это в полной мере, но в особенности отличился калужский губернатор Офросимов, про которого, впрочем, в Калуге говорили, что он глух умом, сердцем и ушами. Плеве, любивший ставить людей в неловкое положение, предложил ему какой-то вопрос, смысл которого Офросимов не расслышал и ответил поэтому нечто совершенно несообразное. Вообще среди прибывших тогда провинциальных администраторов на всех, а в том числе на Плеве, произвел наибольшее впечатление кн. С. Д. Урусов, бывший в то время губернатором в Кишиневе. Рассуждал он весьма толково, причем, однако, явно старался подладиться под тон министра. Не прошло тем не менее и двух лет, и кн. Урусов резко перекинулся в левый кадетский лагерь.

Дальнейшим съездам представителей губернской власти в Петербурге для ознакомления с основными взглядами министерства по крестьянскому вопросу не суждено было состояться. Не успели губернаторы, созванные в первую очередь, разъехаться по своим местам, как разразилась война с Японией, и пришлось вместо приглашения в Петербург намеченных во вторую группу губернаторов предложить находящимся в столице немедленно вернуться к местам их службы, дабы блюсти за производством последовавшей вследствие войны мобилизации запасных. При этом все остальные вопросы поневоле отошли на второй план, и собственно при Плеве пересмотр крестьянского законодательства, поскольку он производился в Министерстве внутренних дел, уже больше не двинулся ни на йоту.

Мне, однако, хотелось по возможности поддержать в тех кругах, которые могли оказать влияние на дальнейший ход этого вопроса, интерес к нему и пропагандировать в их среде то направление этого дела, которое казалось мне единственно правильным. В этих видах я воспользовался тем, что был участником так называемых экономических обедов, и предложил руководителям этих собраний сделать сообщение о произведенных в Министерстве внутренних дел работах по пересмотру крестьянского законодательства.

В те годы, о которых идет речь, когда общественная жизнь в столице была так мало развита, когда о публичном сообщении представителя правительственной власти о каких-либо предположенных реформах никому не могло и сниться, экономические обеды, происходившие обычно раз в месяц, а не то и реже и собиравшие от сорока до пятидесяти человек, представляли почти единственный общественный центр, могущий хоть сколько-нибудь, через посредство отдельных своих участников, влиять на принятие того или иного решения государственной властью.

За этими обедами собирались наиболее интересующиеся экономическими вопросами члены Государственного совета, которые и составляли основное ядро этих собраний; некоторые представители науки и научной публицистики, в том числе и принадлежащие к левому социалистическому лагерю, как, например, профессор Ходский, а также другие, более или менее известные лица. Постоянным секретарем этого кружка состоял гр. Ростовцев, председательствовали же по очереди наиболее видные участники обедов. Эти собрания в отдельном зале ресторана Донона состояли в том, что тотчас после скромного обеда один из участников делал сообщение по какому-либо злободневному, преимущественно экономическому, вопросу, за которым следовали прения. В общем в этой группе господствовало критическое отношение к экономической политике Витте, служившее, по-видимому, главным цементом, объединяющим участников этих собраний, и поэтому здесь подвергались обсуждению преимущественно мероприятия Министерства финансов как предположенные, так и уже осуществленные, последние — с точки зрения тех результатов, которые они порождали. В начале года неизменно обсуждался утвержденный государственный бюджет, причем докладчиком являлся П.Х. Шванебах. Приглашались иногда на эти обеды и лица, не принадлежавшие к постоянному составу их участников, преимущественно приезжие земцы.

Мое предложение сделать сообщение по вопросу о реформе крестьянского законодательства было охотно принято и собрало небывало большое количество участников обедов, причем среди них были в довольно значительном числе земские деятели.

Доклад мой, направленный, разумеется, к защите проектов министерства, я построил, однако, здесь на совершенно иных мотивах, нежели те, которые были помещены в опубликованной объяснительной к ним записке. Здесь я прямо заявил, что государство должно стремиться к слиянию, а не разделению отдельных слоев населения и что посему всякое специально сословное законодательство подлежит не развитию, а упразднению. Однако такое слияние провести в одночасье, сразу не везде и не всегда возможно; жизнь не глина, сказал я, и лепить ее в любые формы не дано законодателю. Необходим известный подготовительный процесс, нужны некоторые промежуточные этапы. Вот этим промежуточным этапом и является

выработанный проект. В сущности, это ряд мостов, соединяющих общее законодательство со специальным крестьянским и приближающих последнее к первому. Затем я тут же указал на те введенные в узаконения о крестьянах новеллы, которые сближают их с общим законодательством страны, а также на легкую техническую возможность превращения положения о крестьянском общественном управлении в положение о всеобщей мелкой земской единице, а положения о землеустройстве крестьян — в закон, могущий на практике привести к весьма быстрому превращению всего общинного землевладения в личное: достаточно для этого предоставленного по проекту лишь определенной группе лиц права во всякое время выйти из состава общины предоставить каждому отдельному общиннику, чтобы фактически община, как группа земельных собственников, периодически переделывающих между своими членами принадлежащую ей земельную площадь, перестала существовать. В таком случае все общинники, у которых при переделе количество состоящей в их владении земли уменьшится, немедленно из нее выйдут; остающимся же передел окажется бесполезным, так как не будет того объекта, за счет которого они могли бы увеличить свои владения.

Наконец, по вопросу о новом устройстве волостной судебной юстиции я также указал, что это лишь переход к подчинению крестьян общим судам и общему юридическому кодексу, так как фактически проект нового устава о сельских договорах и правила о наследовании в наделных землях (первый — всецело, а второй — отчасти) воспроизводят нормы проекта нового гражданского уложения. Закончил я тем, что лица, стремящиеся к скорейшему слиянию всех сословий в порядке управления, суда и земельных отношений, должны всячески содействовать превращению в закон разработанных проектов, внося в них те дальнейшие новеллы, которые еще более приблизят этот проект к действующему общему законодательству. Не преминул я, конечно, при этом подчеркнуть, что министерство вовсе не смотрит на выработанный проект как на нечто окончательное, а лишь как на канву, по которой местные люди могут вышивать любые узоры.

Данное мною освещение выработанных проектов, видимо, в значительной степени примирило с ними большинство присутствующих, но зато еще больше восстановило против них сторонников общины, к спору о которой преимущественно свелись все последующие прения.

Доклад мой, в общем довольно пространный, я отпечатал на правах рукописи и затем раздавал тем лицам, влияние которых, мне представлялось, могло содействовать превращению проектов новых узаконений о крестьянах в предполагаемом смысле — в закон. Любопытнее всего, что моим докладом остался вполне доволен Стишинский, заявивший мне, что я избрал замечательно хороший способ *captatio benevolentiae* в пользу возбужденных проектов. Гораздо тоньше оказался и здесь Плева, который весьма

интересовался впечатлением от моего доклада, равно как и его содержанием, с которым он ознакомился по его напечатанию. Он без обиняков мне сказал: «А ведь вы гнете в другую сторону, но я еще сам далеко не уверен, какая сторона правильна».

Надо сказать, что к этому времени мне пришлось уже многократно беседовать с Плеве о крестьянском вопросе и, между прочим, о том, что крестьянство отнюдь не представляет однородную массу, что община, принуждая наиболее энергичных крестьян равняться в отношении системы полеводства и вообще использования природных сил почвы по наименее предприимчивым и развитым своим сочленам, тем самым заставляет их искать выход для своих творческих сил в какой-либо иной отрасли занятий. Деревенские кулаки, утверждал я, наиболее крепкий среди крестьянства элемент, и не их вина, что, не имея возможности развить в сколько-нибудь полной степени свою энергию в области сельского хозяйства, они ищут других выходов и вследствие этого превращаются в мелких торговцев и ростовщиков. Не находя достаточного применения своему собственному труду, они обращаются к эксплуатации чужого труда, в чем община им не только не препятствует, а, наоборот, содействует. Система помощи слабым и опека их от сильных извращает деятельность сильных; слабых же лишь ослабляет, так как не воспитывает в них умения противостоять сильным. Прогресс человечества является результатом деятельности сильных, а улучшение социальных условий зависит прежде всего от степени той органической силы, которой обладает народная масса. Предоставленные самим себе слабые элементы, быть может, действительно погибают, но для человеческого прогресса, равно как и для внутренней прочности народа и созданного им государства эта гибель не имеет значения, а в известной степени даже полезна. Необходимо предоставить простор свободной игре, свободному состязанию экономических сил и способностей народа, так как при нем происходит тот естественный подбор, при котором преимущественно вырабатываются и крепнут сильные народные элементы. Противоположный способ действия ведет к обратным результатам. Дайте вполне свободный выход из общины каждому крестьянину, отмените мертвящий закон о неотчуждаемости крестьянских наделных земель, и вы получите в сельских местностях многочисленный крепкий элемент порядка и хозяйственного прогресса.

Я не могу сказать, чтобы мои доводы убедили Плеве. Основываясь на своей весьма ограниченной сфере наблюдений сельской жизни, он продолжал утверждать, что наше зажиточное крестьянство не включает элементов морального и культурного прогресса. Приводил он при этом пример знакомого ему по Костромской губернии содержателя постоялого двора, продолжающего в своем домашнем обиходе жить в ужасающей грязи, что для Плеве, по-видимому, было показателем степени его общей культурности. Не мог забыть он и того, что во время аграрных беспорядков в 1902 г. в

Полтавской и Харьковской губерниях грабили все крестьяне, богатые и бедные, причем все они были подворники (35), и на этом основании приходил к выводу, что в социальном отношении богатые крестьяне и вообще крестьяне, владеющие землей на подворном праве, представляют столь же малую опору, как крестьяне бедные и общинники. По иронии судьбы, он сходил в этом отношении с публицистами «Русского богатства» ярко социалистического направления (36). Но если Плеве не убеждался моими доводами в том направлении, в которое я стремился направить реформу крестьянского законодательства, то зато он, видимо, утрачивал уверенность и в правильности противоположной точки зрения. В результате получилось то, что Плеве в этом основном вопросе народной жизни утратил какую бы то ни было вполне стойкую определенную точку зрения, и если в известных случаях продолжал высказывать свои прежние взгляды, то делал это, по моему глубокому убеждению, по старой привычке, по более легкой для него возможности сколько-нибудь стройно их высказывать, пользуясь для этого механически в нем засевшими и привычными ему формулами и оборотами речи. Люди вообще, сами того не замечая, часто становятся рабами затверженных и автоматически ими высказываемых словесных формул, причем с возрастом рабство это усиливается. Человеческие мозги со временем как бы костенеют и кристаллизировать новые мысли и положения в четко чеканенные формы уже не в силах. Именно в таком состоянии, представляется мне, находился и Плеве. Продолжая говорить прежним языком и пользоваться прежними формулами, он, однако, в глубине своего сознания утратил в них веру, не приобретя новых твердых убеждений. Известная эволюция мысли в нем тем не менее несомненно происходила, и я никогда не терял надежды на то, что если не при его деятельной поддержке, то, по крайней мере, при некотором его попустительстве все же удастся в конечном результате осуществить серьезную реформу крестьянского законодательства. Мне он, во всяком случае, не препятствовал продолжать пропаганду моих убеждений. Любопытный образец этого дает следующий случай.

Желая, с одной стороны, посмотреть, как поставлены работы в губернских совещаниях, призванных к обсуждению проектов новых узаконений о крестьянах, а с другой — иметь возможность развить в провинциальной среде мои взгляды на крестьянскую реформу, я просил тверского губернатора кн. Ширинского-Шихматова пригласить меня в качестве местного землевладельца принять участие в тверском совещании, что он и сделал.

Должен сказать, что совещание это произвело на меня в общем тяжелое впечатление и значительно ослабило мою веру в то, что местные люди дадут сколько-нибудь определенные, могущие быть превращенными в нормы права ответы и замечания. Я утешался тем, что участвовал лишь в первых общих собраниях совещания, посвященных ознакомлению с основным характером

обсуждаемых проектов, и надеялся, что работа комиссий, которые совещания эти должны были выделить из своей среды для подробного рассмотрения заключающихся в проектах правил, будет более плодотворной. Число этих комиссий должно было соответствовать тем трем главным отделам, на которые распадалась труды министерства, а именно — по общественному управлению, волостному суду и землепользованию крестьян; участвовать в их трудах я, разумеется, времени не имел. Во всяком случае, тверское совещание, насчитывающее в общем собрании свыше пятидесяти человек, обнаружило прежде всего, что большинство его участников либо вовсе не прочло, либо совершенно не усвоило подлежащие рассмотрению проекты, которые были им своевременно разосланы.

Началось оно с того, что председатель совещания кн. Шихматов предложил мне дать собранию краткий общий очерк рассматриваемых проектов, что привело прежде всего к тому, что я подвергся перекрестному экзамену со стороны тех немногих членов, принадлежащих исключительно к лагерю передовых земцев, которые ознакомились с проектами. Экзамен этот сводился к тому, что меня спрашивали, что имелось в виду установлением того или иного предположенного правила, чем вызывалась та или иная проектированная новелла. Просвечивало при этом видимое желание выявить полное незнание петербургского чиновника с существом дела, которое он легкомысленно взялся защищать в земской среде, и по возможности заставить его впасть в противоречие с самим собою, что было вполне возможно, так как число отдельных статей в проектах превышало 2400. Особенное старание в этом отношении проявил старый тверской земец, бывший одно время председателем тверской губернской земской управы и принадлежавший к левому крылу тверского земства С.Д. Квашнин-Самарин. По убеждениям он был определенным народником 60-х годов и крестьянское право знал превосходно. Ни в какую критику проектов он, однако, не пустился, а ограничился лишь моим допросом. Такого допроса я вовсе не опасался, ибо во многом, разумеется, я мог ошибаться, но содержание проектов и смысл заключающихся в них правил знал до точки, так что Квашнин-Самарин вынужден был закончить свой допрос словами «благодарю вас, я удовлетворен».

Собственно критика проектов, чрезвычайно расплывчатая и туманная, последовала с другой стороны, а именно из рядов правого земского лагеря, бывшего притом крайним правым, и касалась преимущественно вопроса об общине и необходимости ее строжайшего охранения. Я, разумеется, тотчас возгорелся и ответил пространной и горячей речью, в которой высказал мой взгляд до дна, а именно в том смысле, что все будущее России, ее развитие и прогресс зависят от того, насколько удастся в краткий срок упразднить общину и перевести крестьян к вполне обособленному и самостоятельному землевладению и землепользованию.

Вот по поводу этой моей речи и обнаружилось отношение Плеве к моим взглядам. Вернувшись из Твери в Петербург, я, разумеется, рассказал Плеве, что происходило на тверском совещании, передал мои общие впечатления, упомянул, вероятно, и сказанное мною про общину. Выслушав меня, Плеве вынул из ящика своего письменного стола исписанный лист бумаги и сказал: «А вот что пишут про ваше выступление в Твери» — и затем прочел его содержание. Лист этот заключал копию перлюстрированного письма столпа крайней правой тверского земского лагеря Владимира Николаевича Трубникова к другому тверскому земцу того же направления, бывшему одновременно членом совета министра путей сообщения, Ал[ексею] Николаевичу Столпакову. Содержание письма касалось тверского совещания и заключало, между прочим, приблизительно следующую фразу: «Приезжал сюда нас обучать Гурко — яркое олицетворение ни в чем не сомневающегося петербургского либерального чиновника; наговорил нам таких пустозвонных либеральных речей, каких мы от этих господ еще и не слыхивали. Доведут нас до беды эти петербургские фрукты».

Выслушав чтение этого письма, я ожидал, что Плеве по меньшей мере спросит меня, что именно либерального я говорил в Твери, но, к некоторому моему удивлению, он ограничился несколькими, сказанными с его обычной усмешкой, словами: «Сообщаю это вам для сведения» — и перешел к другим вопросам.

С передачей выработанных проектов на места работа в земском отделе по пересмотру крестьянского законодательства временно, естественно, затихла. Разрабатывался лишь, но уже в общем канцелярском порядке, проект устройства при волостных правлениях в наиболее крупных сельских центрах сельских нотариатов. Потребность в приближении к сельскому населению подобных учреждений обнаруживалась уже с давних пор, как, впрочем, вообще весь уклад сельской жизни настоятельно требовал, в моем представлении, многих коренных улучшений.

Я решил воспользоваться сравнительно более свободным временем, чтобы по возможности ближе лично ознакомиться как с деятельностью местных крестьянских учреждений, так и с общим настроением и нуждами русской сельской жизни. В этих видах я испросил согласие Плеве на производство ревизии губернских и уездных крестьянских учреждений и осмотра иных местных управлений ведомства Министерства внутренних дел в трех различных по их особенностям губерниях, а именно Нижегородской, Курской и Екатеринославской, причем, конечно, сказал, что цель моя — не столько ревизия этих местных учреждений, сколько выяснение общего характера их деятельности и присущих им, по самой их постановке, недостатков. Плеве весьма охотно на это согласился, и я в середине июня 1904 г. выехал в эту поездку, причем мобилизовал лучшие силы земского отдела не с точки зрения их канцелярских редакторских способностей, а в

смысле жизненности их взглядов и степени инициативы. Участвовали в этой поездке кроме ранее мною упомянутых Глинки, Страховского, Бафталовского, Зноско-Боровского, Петрова еще В.И. Ковалевский, впоследствии заведовавший продовольственной частью в империи, и кн. Н.Л. Оболенский, впоследствии харьковский губернатор. Оба они были люди живые, интересующиеся широкими вопросами государственной и народной жизни, причем В.И. Ковалевский был вообще хорошо знаком с условиями крестьянского быта и отличался исключительной энергией. Перед отъездом выработали подробную программу предстоявшей нам работы, наметив те основные вопросы, которые представлялось особенно желательным выяснить. В губернский город мы приезжали всей гурьбой, производили ревизию трех отделений губернского присутствия — административного, судебного и продовольственного, по окончании которой собиралось совещание из всех местных губернских властей, как правительственных, так и общественных, т.е. дворянских и земских. Излагал я на нем результаты произведенной ревизии и затем переводил суждения на общую тему о наиболее настоятельных местных нуждах и способах их удовлетворения. Затем мы распределялись на три партии, из которых каждая должна была посетить два или три уезда и некоторые из находящихся в них участков земских начальников и волостных правлений. Забегая несколько вперед, скажу тут же, что поездка эта дала нам весьма богатый и разнообразный материал, который я надеялся использовать при выработке окончательных проектов новых узаконений о крестьянах, когда совершенно не учитывавшееся мною событие, а именно убийство Плеве, последовавшее 15 июля 1904 г., на время ее прервало и вообще лишило ее цельности и законченности.

Известие об убийстве министра внутренних дел застало меня на берегу Азовского моря, в Мариуполе, и произвело на всех нас удручающее впечатление, хотя в нашей среде многие отнюдь не разделяли его образа мыслей и способа действий. Но в земском отделе мои сослуживцы ни в чем не испытывали принявший к тому времени запальчиво бестактный характер борьбы Плеве со всякими проявлениями общественной мысли и деятельности. Никакого участия в этой борьбе, по самому существу его деятельности, земский отдел не принимал, работа же в нем одухотворялась у большинства моих сотрудников горячим желанием принять близкое участие в переустройстве сельской жизни, нравственно удовлетворяла их вполне, и они, естественно, опасались, что с переменой министра внутренних дел произойдет в этом деле по меньшей мере заминка.

Иное отношение, признаюсь, к моему удивлению, увидел я даже в среде Министерства внутренних дел в Петербурге, куда успел вернуться к похоронам Плеве. Директор департамента полиции Лопухин на мои слова об ужасе свершившегося прямо мне сказал: «Так долгие продолжаться не могло» — и прибавил несколько слов о том, что Плеве все и вся душил.

Опасения моих сотрудников, что с переменой министра внутренних дел работы по пересмотру крестьянского законодательства замрут, оправдались, хотя произошло это не от желания последовательно заменивших Плеве кн. Святополк-Мирского и А.Г. Булыгина, а от общего хода событий, а также по другим, более сложным причинам, которых надеюсь коснуться в дальнейшем изложении. Как известно, проекты, выработанные в земском отделе в 1902—1903 гг., не только не получили осуществления, но даже не подверглись дальнейшему обсуждению, а потому, казалось бы, не стоило о них и упоминать, а тем более сколько-нибудь подробно на них останавливаться. Однако это не так, ибо свою роль, и притом значительную, по крайней мере в главном вопросе крестьянского быта, они, несомненно, сыграли.

Именно эти работы не только легли в основание, но послужили и исходной точкой Высочайшего указа 9 ноября 1906 г. о праве свободного выхода из общины; на их же основании были впоследствии утверждены правила о землеустройстве крестьян, причем само землеустройство это производилось, как я уже упоминал, быть может, слишком рабски следуя тем идеям, которые были высказаны в объяснительной записке к положению о землепользовании крестьян и на которых это положение было построено.

За исключением небольшого круга лиц для всей русской общественности и даже бюрократических кругов указ 9 ноября 1906 г. появился как *Deus ex machina*, совершенно внезапно. Между тем изданию этого указа предшествовали длительные подготовительные работы и несколько неудавшихся попыток проведения заложенных в этом указе принципов в жизнь, о которых я надеюсь поговорить подробнее в другом месте. Самому же проведению правил указа 9 ноября 1906 г. в жизнь оказалось возможным дать с места весьма быстрый ход только благодаря тому, что над разрешавшимся им вопросом в течение нескольких предшествующих ему лет усиленно работали многие лица. Именно эти лица могли явиться и действительно явились деятельными, решительными и умелыми проводниками в жизнь идеи организации крестьянского хозяйства на праве личной собственности при полной хозяйственной самостоятельности каждого земледельца.

Что же касается проектов переустройства крестьянского общественного управления и волостного суда, то труды по их составлению пропали совершенно даром. Я продолжаю, однако, думать, что необходимо было решиться на одно из двух: либо упразднить обособленность крестьян в области управления и суда, подчинив их общему порядку управления и общему законодательству, либо ввести в действующие законы существенные исправления, хотя бы в смысле сближения специальных узаконений, касающихся этой существенной стороны народной жизни, с общими законами империи. Оставлять волостной суд в том хаотическом состоянии, в котором он находился до самой революции, было крупной государственной

ошибкой, немало способствовавшей извращению у крестьян самих понятий о праве собственности и принимаемых ими на себя обязательствах.

Глава 3 Некоторые из сотрудников В. К. Плеве по управлению министерством внутренних дел

Товарищ министра П.Н. Дурново и различные типы наших бюрократов • Товарищ министра НА. Зиновьев • Директор департамента общих дел Б. В. Штюрмер • Начальник Главного управления по делам печати НА. Зверев • Начальник канцелярии министра Д.Н. Любимов • Командир отдельного корпуса жандармов В. В. Валь • Начальник переселенческого управления А. В. Кривошеин • Общая характеристика петербургской бюрократии

Министерство внутренних дел ко времени вступления Плеве в его управление представляло в общем в достаточной степени расхлябанное, архаическое учреждение. Не только не преследовало оно основного смысла центральных учреждений, а именно наблюдения за ходом жизни, выяснения тех новых потребностей, которые она беспрестанно выдвигает, но даже не представляло оно и хорошо налаженного бюрократического аппарата, безостановочно и быстро решающего те частные дела, которые при нашей централизации в огромном количестве доходили до Петербурга. Я уже упомянул, что в земском отделе число не представленных по различным, рассмотренным местными крестьянскими учреждениями и обжалованным в Сенате делам рапортов было свыше 800, из них большинство — многолетней давности. То же самое наблюдалось и в большинстве других департаментов министерства.

Плеве, сохранивший связи с министерством и хорошо знавший все, что в нем творится, по существу имел полное основание сменить большинство начальников отдельных частей министерства; сказать, однако, что сделанный им выбор заместителей был весьма удачен — нельзя.

Плеве, вполне знакомый с действием правительственного механизма, знал лучше кого-либо, что роль товарищей министра при властном министре, с одной стороны, и деятельных, а в особенности властных директоров департаментов — с другой, была тусклая и незначительная. В сущности, товарищи министров были не что иное, как старшие чиновники по особым поручениям министра, облеченные правом подписывать бумаги «за министра» законом; ни круг их обязанностей, ни предел их прав не были определены, а всецело зависели от усмотрения министра. Вследствие этого от министра вполне зависело ограничить круг деятельности своих товарищей любыми рамками и вообще — использовать их в мере своего к ним доверия и признаваемых им за ними способностей.

Именно этим надо объяснить, что Плеве, сменивший при вступлении в управление министерством почти всех директоров департаментов,

товарищей министра оставил на их должностях, причем, однако, существенно изменил их роль и значение. Товарищи эти были кроме А.С. Стишинского, о котором я уже неоднократно упоминал, еще П.Н. Дурново и Н.А. Зиновьев.

По природному уму, по ясному пониманию всего сложного комплекса обстоятельств времени, по врожденным административным способностям и, наконец, по твердому и решительному характеру П.Н. Дурново был, несомненно, головой выше остальных лиц, занимавших ответственные должности в центральном управлении министерства.

Начал свою службу Дурново во флоте, но вскоре по окончании курса военно-юридической академии вступил в штат Министерства юстиции. Переход Дурново на гражданскую службу совпал с введением в действие судебных уставов 1864 г. Вместе с целой плеядой талантливых сверстников он содействовал, состоя в рядах прокуратуры, созданию нашего нового суда, отличавшегося твердой законностью и независимостью от воздействия административной власти. Насколько такая независимость отвечала государственному интересу — вопрос спорный. Наш новый суд в течение продолжительного срока после его образования, несомненно, действовал вне условий времени и пространства, преследуя лишь один идеал отвлеченной справедливости. Теория Монтескье о разделении властей представляла в то время для суда нечто совершенно непреложное. Гр. Пален, введивший в действие новые судебные уставы, стремясь высоко поднять знамя судейской беспристрастности, доходил до того, что даже требовал, чтобы представители прокуратуры и суда не имели сколько-нибудь близких отношений с представителями других отраслей государственного управления и даже местным обществом. В прокуратуре Пален видел недремлющее око правосудия, бдительно следящее за всякими отступлениями от строгого соблюдения действующих законов, а тем более — за личными правонарушениями, совершенными представителями власти. По мнению гр. Палена, такое беспристрастие и постоянное наблюдение возможно было осуществить лишь при отсутствии личной приязни между представителями власти надзирающей и привлекающей к ответственности, т.е. прокуратурой, с органами власти управляющей — администрацией. При всей возвышенности этого идеала, доведенный до крайности, он представлялся в интересах общегосударственных спорным. Само собою разумеется, что пока дело идет о неуклонном привлечении представителей власти за всякие правонарушения, совершенные ими ради каких бы то ни было личных, в особенности корыстных, целей, идеал этот не подлежит ни малейшей критике. Иное представляется, когда надзор этот приобретает характер придинок к администрации и систематического ее развенчания в глазах общества за несоблюдение ею всех требований закона при обеспечении в стране спокойствия и порядка. Оторванность прокуратуры от общего государственного управления проявлялась в особенности при рассмотрении

преступлений политических. То или иное понимание наилучшего государственного и социального строя всегда и везде останется вопросом субъективным. Прямого нарушения законов этики в действиях, направленных к изменению этого строя, коль скоро они сами по себе не представляют уголовных преступлений (причем, по мнению некоторых, и последние допустимы, коль скоро побуждением к их совершению является не личная выгода, а интерес общественный, как он понимается правонарушителем), конечно, нет. При таких условиях суд, руководящийся не статьями действующего закона, неизменно охраняющего существующий государственный и общественный строй, а велениями отвлеченной морали, далеко переступает основы теорий Монтескье о разделении властей. Действительно, на основании этих теорий власти эти должны быть разделены и независимы друг от друга, но отнюдь не противоположны и антагонистичны. Между тем именно последнего достигала система Палена, внедрившего в судебных деятелей мысль, что они не часть одного государственного механизма, а представители общественной совести, парящие в области отвлеченной справедливости и обязанные совершенно отречься от практических соображений реальной действительности и общих видов государственной власти.

Наиболее дальновидные, обладающие широким государственным пониманием интересов страны судебные деятели это вполне понимали. К их числу, несомненно, принадлежал П.Н. Дурново. Возможно, содействовало ему в этом и правильное понимание собственных выгод, так как в конечном счете отмежевание судебных деятелей в особую касту ограничивало их дальнейшую службу скудно оплачиваемой и крайне медленной судебной карьерой. Путь этот не сулил Дурново удовлетворения присущих ему в широкой мере властолюбия и честолюбия, а потому он и не замедлил при первой возможности покинуть судебную должность и перейти в Министерство внутренних дел на должность вице-директора департамента полиции, когда директором этого департамента состоял Плеве. Назначенный затем директором того же департамента, он проявил в полной мере свои административные способности, и перед ним открылась широкая дальнейшая карьера. Задержал эту карьеру на многие годы инцидент, вызвавший оставление им департамента полиции. Желая убедиться в неверности состоявшей с ним в близких отношениях некоей г-жи Доливо-Добровольской, относительно которой у него были подозрения, что она одновременно была в столь же близких отношениях с бразильским поверенным в делах, он пристроил к последнему в качестве прислуги одного из агентов тайной полиции. По указаниям Дурново агент этот взломал письменный стол дипломата и доставил ему содержимое. Бразилец по поводу произведенной у него странной кражи-выемки обратился к общей столичной полиции, а последняя, бывшая к тому же всегда в неладах с чинами департамента полиции, не замедлила выяснить обстоятельства этого дела. На всеподданнейшем докладе обо всем этом инциденте петербургского

градоначальника Александр III наложил общеизвестную резкую резолюцию, в результате которой Дурново был уволен от должности директора департамента полиции с назначением к присутствованию в Правительствующем сенате, что, между прочим, вызвало в то время большое негодование в сенатских кругах³⁸. Но время шло. Дурново и в Сенате обнаружил свои выдающиеся способности и государственный ум, и Сипягин вновь призвал его к живой деятельности, избрав его своим товарищем и поручив ему заведование департаментом полиции. На этой должности застал его Плеве, прекрасно его знавший по прежней совместной службе. Вполне хороших личных отношений между Дурново и Плеве, однако, никогда не было. Оставить Дурново во главе полицейского дела он признавал по многим причинам неудобным. Почитая себя самого за знатока полицейского дела, он вообще не хотел иметь никакого посредника между собою и директором департамента полиции. Ввиду этого он предложил Дурново взамен департамента полиции вполне самостоятельно заведовать Главным управлением почт и телеграфов, представлявшим по своей обширности целое министерство. Этим делом и ведал Дурново при Плеве, и ведал им с несомненным умением и даже любовью. Постановка почтово-телеграфного дела у нас была, несомненно, образцовая, и если она не получила того быстрого развития, которого требовала развивавшаяся народная жизнь, то лишь за отсутствием надлежащих для сего денежных средств. При Дурново, с умением, стойкостью и жаром отстаивавшем в Государственном совете сметные ассигнования почтово-телеграфному ведомству, темп развития этого дела, несомненно, ускорился и общая постановка значительно усовершенствовалась. Тем не менее ни честолюбие, ни самолюбие Дурново, конечно, не были удовлетворены присвоенным ему Плеве положением. Будучи по времени назначения и по чину старшим товарищем министра внутренних дел, т.е. тем из них, кто в случае отсутствия министра или его ухода должен временно исполнять его должность, Дурново фактически был совершенно устранен от всякого участия в собственно политической деятельности этого министерства. Разрабатываемые в министерстве законодательные предположения, равно как вообще общие намерения и политическая программа самого министра, были ему даже неизвестны, что его в высокой степени раздражало. Неудивительно поэтому, что он, под рукой, критиковал деятельность Плеве и даже завязал близкие сношения с политическим противником Плеве — Витте, причем, вероятно, снабжал его материалом, могущим служить для опорочивания действий Плеве. Материал этот был ему доступен, ибо если официальной связи с другими, кроме главного управления почт и телеграфов, отделами Министерства внутренних дел он не имел, то личные сношения его со многими из служащих в них бывшими его подчиненными он, конечно, сохранил.

Дабы не возвращаться к Дурново при описании Министерства внутренних дел при Плеве, добавлю, что от устранения от политической стороны деятельности этого министерства Дурново в конечном результате,

несомненно, выгадал. Это дало ему возможность с переменой министра, а именно с назначением кн. Святополк-Мирского, не только удержаться на занимаемой должности, но даже вновь принять деятельное участие в управлении всем ведомством. В это время он настолько отмежевался от реакционной политики Плеве, что даже приобрел в верхах репутацию либерала-прогрессиста, репутацию, чуть было не помешавшую ему занять должность министра внутренних дел в 1905 г. в кабинете Витте. Добавлю здесь лишь, что если высокими принципами П.Н. Дурново не отличался и не был разборчив в средствах, могущих обеспечить его служебные и вообще частные интересы, то все же простым карьеристом его признать отнюдь нельзя: судьбы русского государства составляли предмет его постоянных мыслей и забот.

Вообще говоря, государственных деятелей можно разделить в известном отношении на три категории. К первой, во все времена и во всех государствах — чрезвычайно малочисленной, относятся те, кто ставит государственный интерес неизмеримо выше интересов собственных и вследствие этого отстаивает этот интерес, не считаясь с собственной выгодой, постоянно тем самым рискуя своим положением. В результате такие исключительные деятели лишь чрезвычайно редко достигают верхов власти, чем в значительной степени и объясняется их малочисленность. В сущности, они могут быть у кормила власти при самодержавном строе лишь при наличии таких правителей, какими были Вильгельм I в Германии и Александр III в России. Ко второй категории относятся политические деятели, которые, имея основной целью осуществление интересов государственных, при проведении той или иной меры тщательно соображали способы их проведения в жизнь, дабы они не могли неблагоприятно повлиять на их служебную или общественную карьеру. В сущности, это то же самое, к чему прибегают во всех парламентских государствах все политические партии, причем на их языке это называется тактикой. Как известно, тактика эта допускает самые разнообразные действия, из коих многие не отвечают требованиям отвлеченной морали. Вот именно к этой категории государственных деятелей принадлежали и Витте и Дурново. Каждый в своем роде, они имели свои политические идеалы, к которым упорно стремились и в достижении которых находили главное удовлетворение. Каждый по-своему и присущими им способами стремились они достигнуть верхов власти. Оба, по мере свойственной им энергии, искали они претворить в дело свои идейные замыслы. Можно было этим замыслам сочувствовать или нет, можно было признавать их правильными и полезными для государства или, наоборот, ложными и вредными для страны, но утверждать, что они искали при этом лишь собственной выгоды и руководствовались лишь личными интересами, безусловно, нельзя. Из этих двух государственных деятелей Витте, проводивший первые годы своей деятельности вне бюрократической среды, чуждый ее формалистики и множества условностей, обладал, в особенности в первые годы своей

государственной работы, большой непосредственностью и большим натиском. Состоя к тому же в течение безмерно большого периода у власти, он, конечно, оказал неизмеримо больше влияния на судьбы русского государства, нежели П.Н. Дурново. Значение деятельности Дурново было волею судеб значительно меньше, хотя при подавлении революционного движения 1905 г., он, несомненно, сыграл решающую роль. Но если сравнить этих лиц по их умственным силам, по степени их понимания событий и по их политической прозорливости, то преимущество должно быть, вне всякого сомнения, отдано Дурново. Для широкой публики это был лишь энергичный и беспощадный усмиритель всякого общественного движения — ретроград, думающий, что великий народ можно вести при помощи одной полицейской силы и по указке городского. Представление это абсолютно ложное. Дурново полагал, что полуторастомиллионную серую массу нельзя предоставить самой себе, нельзя оставить без твердого механического остова, олицетворяемого и полицией, и администрацией, и судом, но сторонником административного произвола он не был. Продолжительная служба в судебном ведомстве, а позднее в 1-м департаменте Сената воспитала в нем уважение к закону, а природный ум указывал, что одними механическими способами народной жизнью управлять нельзя. Будь Дурново у власти сколько-нибудь продолжительное, а в особенности сколь-нибудь нормальное время, он, несомненно, стал бы искать опоры в определенных общественных слоях, причем такими слоями в его представлении были бы именно культурные и патриотически настроенные земские круги. Обратил бы он внимание и на нашу школу на всех ее стадиях и приложил бы все старания к образованию многочисленного и мощного своей материальной независимостью учительского кадра, способного внедрить в подрастающее поколение гордость в принадлежности к великому народу и любовь к родине, а не презрение к ней, что так старательно воспитывал в течение ряда десятилетий во всех слоях русского народа наш учительский персонал, предаваясь огульному осуждению всего существовавшего на Руси, всех ее государственных порядков, всего ее общественного строя и даже всего ее исторического прошлого.

К третьей категории политических деятелей надо причислить тех, кто интересуется ходом событий и тщательно следит за ними преимущественно в целях выяснения того положения, которое они сами должны занять по отношению к тому или иному общественному течению. Собственный интерес у таких лиц неизменно перевешивает интерес общественный. Они мало заботятся о выяснении степени полезное™ для государства взятого в целом того или иного политического течения и стараются выяснить степень его силы и его шансы на преодоление других течений и на собственный успех. В сущности, это та людская масса, которая неизменно бежит за колесницей победителя, над кем бы он победу ни одержал. Безусловно, прав был генерал Мале, поднявший восстание против правительства Карла X, когда на вопрос судившего его трибунала, кто его сообщники, ответил: «Вы

все, если бы мое действие увенчалось успехом» («Vous tous — si j'avais réussi»).

Само собой разумеется, что подобное деление грубое. На деле между абсолютным преобладанием у человека альтруизма над эгоизмом и, наоборот, эгоизма над альтруизмом имеется множество промежуточных степеней. Но все же где-то имеется, так сказать, водораздел, по разным склонам которого все располагаются в порядке, приближающемся к этим двум полюсам — карьеристам, с одной стороны, и самоотверженным патриотам — с другой. Как Витте, так и П.Н. Дурново находились на склоне патриотов. Нельзя того же сказать про всех других деятелей Министерства внутренних дел, из которых многие думали преимущественно о себе и различались между собою главным образом степенью своей дальновидности. Одни думали лишь о том, как бы угодить начальству данной минуты, не задумываясь над тем, представляет ли это начальство течение, имеющее шансы на длительное господство, другие, более тонкие, заглядывали в будущее, стремясь выяснить, по какому руслу потекут события в более или менее близком будущем. Подобные лица, не вступая, разумеется, в резкий и открытый антагонизм с начальством данного времени, однако избегали всецело связывать свою судьбу с ним и, коль скоро приходили к убеждению, что направление политики их начальства не отвечает будущему ходу событий, либо не примыкали пока что ни к какому течению и вообще старались не высказывать сколько-нибудь определенных политических взглядов, либо, наоборот, уже заранее, из-под руки, критиковали действия начальства, не переходя, однако, открыто в другие станы.

Впрочем, имеется еще категория политических карьеристов, и притом отнюдь не малочисленная, а именно состоящая из лиц, не останавливающихся перед резкими изменениями исповедуемых ими взглядов в зависимости от степени выгоды состояния в том или ином лагере. Таких лиц принято называть ренегатами, но едва ли название это можно признать правильным. Дабы быть ренегатом, надо верить тому, от чего впоследствии отрекаешься. Но лица этой категории, в сущности, никогда ничему в душе не верят, а лишь говорят, что верят, а потому отречься им приходится не от своих убеждений, а лишь от произнесенных ими слов и уверений. В сущности, убеждения их принадлежат к той категории, о которой повествует анекдот, распространенный в Москве во время усиленного удаления из первопрестольной евреев. Согласно этому анекдоту еврей, перешедший в православие, на вопрос своего сородича, неужели он искренне уверовал в христианство, ответил, что он переменил веру с искренним убеждением, что в противном случае он будет выслан из Москвы⁴⁰. Вот этими убеждениями от противного, несомненно, щегольнуло, к собственной гибели, большинство русских политических деятелей в первые же дни после Февральской революции 1917 г.

К числу подобных лиц нельзя, однако, причислить Дурново. Он мог по карьерным соображениям высказать иногда мнения и мысли, не соответствовавшие его убеждениям, но изменить своим убеждениям на практике он был не в состоянии, настолько они составляли его неотъемлемую часть, а отнюдь не легкий налет, который можно во всякую минуту сбросить и облечься в любой другой наряд.

Третьим товарищем министра при Плеве был Н.А. Зиновьев. Я лично знал его недостаточно, чтобы дать его обоснованную характеристику. Знаю, что это был человек, получивший специальное образование, не то геодезист, не то астроном, и никакими широкими познаниями не обладавший. Знаю также, что по природе это был резкий и даже грубый человек, что вызвало, между прочим, его перевод с должности губернатора из Тульской в Могилевскую губернию вследствие тех невозможных отношений, которые у него установились в Туле с местным дворянством. Знаю, наконец, что ту же грубость он проявлял при тех ревизиях земских учреждений, которые на него возлагал Плеве, причем, однако, сами ревизии эти были произведены весьма тщательно и раскрыли многие несовершенства в деятельности осмотренных им учреждений, а составленные по этим ревизиям отчеты заключали богатый материал. От сослуживцев Зиновьева я слышал, что он отличался, с одной стороны, рабским следованием указаниям и желаниям начальства, в своем усердии пересаливая их указания, а с другой стороны, каким-то непреодолимым духом противоречия ко всем предположениям, высказываемым его подчиненными. Свойство это было настолько общеизвестно, что докладывавшие ему нередко высказывали предположения, обратные тем, которые они хотели бы осуществить, уверенные, что по духу противоречия Зиновьев именно на последних и остановится.

До назначения Плеве, состоя товарищем министра, он одновременно исполнял и должность директора хозяйственного департамента, т.е. фактически ведал всем земским и городским общественным самоуправлением. С превращением хозяйственного департамента в Главное управление по делам местного хозяйства и назначением начальником этого управления С.Н. Гербеля, Зиновьев был отставлен от непосредственного заведования этими делами и почти всецело был использован для производства ревизий этих учреждений на местах. Нечего и говорить, что при Плеве Зиновьев был сторонником сокращения сферы деятельности земств и подчинения их вящему надзору администрации. Иные взгляды высказывал, однако, Зиновьев впоследствии в качестве члена Государственного совета уже после преобразования этого учреждения. Примкнув здесь к партии центра, занявшей среднее положение между октябристами и кадетами, Зиновьев никогда не упускал случая выразить свою приверженность непременною участию общественных сил в местном управлении, причем с жаром отстаивал расширение прав земских и

городских учреждений и обеспечение их деятельности от вмешательства и даже надзора администрации.

Два слова о С.Н. Гербеле, и притом не относительно его достоинств и недостатков, определить которые я не могу, так как знаком был с ним весьма мало, а по поводу самого его назначения. Гербель до назначения на упомянутую должность был херсонским губернатором, а до того — председателем херсонской губернской управы. Вот именно благодаря этому и остановился на нем Плеве, когда искал лицо, могущее сделаться постоянным посредником между ним и земскими кругами. Выбирая земского по прежней должности человека, он надеялся, что это облегчит ему возможность завязать хорошие отношения с земством. Несомненно, с тою же целью пригласил Плеве в качестве начальников отделов Главного управления по делам местного хозяйства Немировского — председателя губернской земской управы одной из южных губерний и Пшерадского — городского голову какого-то губернского города. Плеве рассчитывал таким путем обеспечить в министерстве благожелательное отношение к местным земским и городским нуждам и таким путем установить нормальные отношения между администрацией и общественными элементами. Ожидания эти не сбылись, но виноваты в этом [были] обе стороны. Либеральная общественность стремилась вовсе не к установлению благожелательного к себе отношения власти, а к занятию в стране доминирующего положения.

Я не стану, разумеется, перечислять всех начальников отдельных управлений Министерства внутренних дел, тем более что некоторых из них я знал лишь весьма поверхностно, а ограничусь лишь теми, кто либо по свойству управляемых ими департаментов играл известную политическую роль, либо по их дальнейшей деятельности привлекли впоследствии общественное внимание. В последнем отношении едва ли не первое место надо отнести Б.В. Штюмеру, бывшему при Плеве директором департамента общих дел министерства.

Впрочем, сначала на должность директора этого департамента Плеве провел А.П. Роговича, занимавшего впоследствии должность товарища обер-прокурора Св. синода и назначенного затем членом Государственного совета, — человека, в высокой степени порядочного. С Плеве Рогович, несмотря на свои крайне правые убеждения, однако, не поладил, преимущественно на почве недостаточно быстрого и точного канцелярского исполнения распоряжений министра, и был заменен ярославским губернатором Б.В. Штюмером, с которым поменялся местом, будучи одновременно сам назначен губернатором в Ярославль.

Штюмер, несомненно, сыграл фатальную роль в русской истории, когда волею судеб был назначен в 1915 г., в самый разгар войны, председателем Совета министров и одновременно сначала министром внутренних, а затем

иностранных дел. Каким образом достиг этот человек высшей степени власти, понять трудно, так как он никакими качествами, кроме выносливой и терпеливой хитрости, не обладал.

Служба этого типичного по беспринципности карьериста началась в Церемониальной части Министерства императорского двора. Достигнув Должности помощника заведующего этой частью, он воспользовался неосторожным жестом своего начальника гр. Кассини, чтобы одновременно его спихнуть и самому занять его место. Состоял же упомянутый жест в том, что гр. Кассини, получив в награду какой-то, вероятно, очередной, наконец, что ту же грубость он проявлял при тех ревизиях земских учреждений, которые на него возлагал Плеве, причем, однако, сами ревизии эти были произведены весьма тщательно и раскрыли многие несовершенства в деятельности осмотренных им учреждений, а составленные по этим ревизиям отчеты заключали богатый материал. От сослуживцев Зиновьева я слышал, что он отличался, с одной стороны, рабским следованием указаниям и желаниям начальства, в своем усердии пересаливая их указания, а с другой стороны, каким-то непреодолимым духом противоречия ко всем предположениям, высказываемым его подчиненными. Свойство это было настолько общеизвестно, что докладывавшие ему нередко высказывали предположения, обратные тем, которые они хотели бы осуществить, уверенные, что по духу противоречия Зиновьев именно на последних и остановится.

До назначения Плеве, состоя товарищем министра, он одновременно исполнял и должность директора хозяйственного департамента, т.е. фактически ведал всем земским и городским общественным самоуправлением. С превращением хозяйственного департамента в Главное управление по делам местного хозяйства и назначением начальником этого управления С.Н. Гербеля, Зиновьев был отставлен от непосредственного заведования этими делами и почти всецело был использован для производства ревизий этих учреждений на местах. Нечего и говорить, что при Плеве Зиновьев был сторонником сокращения сферы деятельности земств и подчинения их вящему надзору администрации. Иные взгляды высказывал, однако, Зиновьев впоследствии в качестве члена Государственного совета уже после преобразования этого учреждения. Примкнув здесь к партии центра, занявшей среднее положение между октябристами и кадетами, Зиновьев никогда не упускал случая выразить свою приверженность непременною участию общественных сил в местном управлении, причем с жаром отстаивал расширение прав земских и городских учреждений и обеспечение их деятельности от вмешательства и даже надзора администрации.

Два слова о С.Н. Гербеле, и притом не относительно его достоинств и недостатков, определить которые я не могу, так как знаком был с ним весьма

мало, а по поводу самого его назначения. Гербель до назначения на упомянутую должность был херсонским губернатором, а до того — председателем херсонской губернской управы. Вот именно благодаря этому и остановился на нем Плеве, когда искал лицо, могущее сделаться постоянным посредником между ним и земскими кругами. Выбирая земского по прежней должности человека, он надеялся, что это облегчит ему возможность завязать хорошие отношения с земством. Несомненно, с тою же целью пригласил Плеве в качестве начальников отделов Главного управления по делам местного хозяйства Немировс-кого — председателя губернской земской управы одной из южных губерний и Пшерадского — городского голову какого-то губернского города. Плеве рассчитывал таким путем обеспечить в министерстве благожелательное отношение к местным земским и городским нуждам и таким путем установить нормальные отношения между администрацией и общественными элементами. Ожидания эти не сбылись, но виноваты в этом [были) обе стороны. Либеральная общественность стремилась вовсе не к установлению благожелательного к себе отношения власти, а к занятию в стране доминирующего положения.

Я не стану, разумеется, перечислять всех начальников отдельных управлений Министерства внутренних дел, тем более что некоторых из них я знал лишь весьма поверхностно, а ограничусь лишь теми, кто либо по свойству управляемых ими департаментов играл известную политическую роль, либо по их дальнейшей деятельности привлекли впоследствии общественное внимание. В последнем отношении едва ли не первое место надо отнести Б. В. Штюмеру, бывшему при Плеве директором департамента общих дел министерства.

Впрочем, сначала на должность директора этого департамента Плеве провел А.П. Роговича, занимавшего впоследствии должность товарища обер-прокурора Св. синода и назначенного затем членом Государственного совета, — человека, в высокой степени порядочного. С Плеве Рогович, несмотря на свои крайне правые убеждения, однако, не поладил, преимущественно на почве недостаточно быстрого и точного канцелярского исполнения распоряжений министра, и был заменен ярославским губернатором Б. В. Штюмером, с которым поменялся местом, будучи одновременно сам назначен губернатором в Ярославль.

Штюмер, несомненно, сыграл фатальную роль в русской истории, когда волею судеб был назначен в 1915 г., в самый разгар войны, председателем Совета министров и одновременно сначала министром внутренних, а затем иностранных дел. Каким образом достиг этот человек высшей степени власти, понять трудно, так как он никакими качествами, кроме выносливой и терпеливой хитрости, не обладал.

Служба этого типичного по беспринципности карьериста началась в Церемониальной части Министерства императорского двора. Достигнув Должности помощника заведующего этой частью, он воспользовался неосторожным жестом своего начальника гр. Кассини, чтобы одновременно его спихнуть и самому занять его место. Состоял же упомянутый жест в том, что гр. Кассини, получив в награду какой-то, вероятно, очередной, но, очевидно, невысокий орден и почитая, что имел право на большую награду, в досаде бросил орденский знак в печку помещения церемониальной части, где его и оставил. Штюмер, бывший свидетелем этого орденOMETания, не замедлил о нем донести куда следует, в результате чего и заменил гр. Кассини на занимаемой им должности.

Несколько позднее, в начале 90-х годов, Штюмер, очевидно решив, что для дальнейшей карьеры надо переменить род службы, и стремясь к губернаторской должности, добился назначения председателем тверской губернской земской управы по назначению правительства после того, как выбранный председателем управы С.Д. Квашнин-Самарин, признанный политически неблагонадежным, не был утвержден. Добился он этого назначения в качестве весьма правого губернского гласного тверского земства. При этом Штюмеру было обещано, что по истечении срока, на который был выбран неутвержденный председатель управы, он будет назначен губернатором.

В Твери Штюмер проявил свою беспринципную житейскую ловкость в полной мере. Понимая, что при незнакомстве с земским делом он его самостоятельно вести не может, и не желая вместе с тем подвергнуться критике губернского земского собрания, большинство которого было в рядах оппозиции правительству и, следовательно, приложит все старания, чтобы дискредитировать деятельность правительственного ставленника, он вошел в соглашение с лидерами этого большинства. Соглашение это состояло в том, что он, Штюмер, будет продолжать вести дело в духе отставленной управы и вообще по указке упомянутых лидеров, которые, в свою очередь, обеспечат его от усиленной травли на земских собраниях. Соглашение это было добросовестно соблюдено обеими сторонами. Штюмер представлял доклады управы земскому собранию на предварительный просмотр и одобрение лидера оппозиции И.И. Петрункевича, а оппозиция критиковала действия правительственной управы лишь для того, чтобы не выявилось состоявшееся соглашение, и в конечном счете как ее действия, так и предположения неизменно одобряла. Таким путем Штюмер сохранял облик исполнительного агента правительственной власти и вместе с тем приобретал репутацию ловкого дипломата, умеющего осуществлять виды правительства без излишнего раздражения общественности.

Естественно, что при таких условиях данное ему обещание было исполнено, и по предоставлении И.Л. Горемыкиным в 1895 г. права тверскому земскому

собранию ранее истечения срока ее полномочий управы вновь поставить во главу губернского земского хозяйства выборного председателя Штюмер был назначен сначала новгородским, а затем ярославским губернатором. Надо отдать ему справедливость, что в обеих этих губерниях он сумел наладить отношения с местным земством. Держа перед правительством определенно правое знамя, он одновременно избегал всякого столкновения с земскими деятелями.

Впрочем, в Новгороде Штюмер чуть не погубил себя своей страстью к внешней пышности и разыгрыванием роли падишаха, вероятно развитой в нем службой в придворной церемониальной части. Пригласив к себе на обед съехавшееся в город на какое-то собрание местное дворянство во главе с губернским предводителем кн. Б.А. Васильчиковым (бывшим впоследствии в кабинете Столыпина главноуправляющим землеустройством и земледелием), он устроил при этом нечто вроде царского выхода. Вместо того чтобы встречать приглашенных им гостей, он решил дожидаться, пока они все соберутся, дабы затем торжественно к ним выйти из «внутренних покоев». Такой образ действия собравшимся гостям пришелся не по вкусу: по предложению кн. Васильчикова все они, не дожидаясь «выхода» хозяина, ушли, направившись к кн. Васильчикову, пригласившему их откусать у него «чем Бог послал». Инцидент этот явился причиной перевода Штюмера в Ярославль, где он проявил уже столько внимательности к местному дворянству, что дворянское собрание при оставлении им Ярославской губернии приобрело на его имя земельный ценз, дававший ему право вступить в ряды ярославского дворянства, причем само, без его о том ходатайства, зачислило его в свои ряды.

Должность директора департамента общих дел Министерства внутренних дел требовала известного такта, мягкости по форме и некоторой твердости по существу. В этом департаменте были сосредоточены все личные назначения по министерству, а равно назначение наград, разрешение отпусков, распределение денежных ассигнований на содержание и ремонт всех казенных зданий министерства, в том числе и помещений губернаторов. Независимо от этого министры внутренних дел нередко возлагали на директора департамента общих дел неприятную обязанность выражения местным администраторам неудовольствия теми или иными их действиями, а иногда и предложение подать прошение об увольнении от должности. '

Проявленное Штюмером в Твери и Ярославле (новгородский инцидент был забыт) умение будто бы твердо проводить правительственную политику, не только не раздражая при этом общественности, но даже привлекая к себе ее симпатии, — вот что, вероятно, побудило Плеве остановить свой выбор на Штюмере после того, как Рогович решительно заявил, что оставаться на должности директора департамента общих дел он не желает. Однако хороших отношений с Плеве Штюмеру установить не удалось. Держась

всемерно за свою должность, не обладая никаким прирожденным чувством достоинства, Штюрмер не сумел с места оградить себя от колкостей Плева, который вскоре потерял к нему всякое уважение. Он стал обходиться с ним до крайности резко и не останавливался перед публичным выражением ему замечаний, принимавших иногда форму прямых выговоров. Да, Штюрмер выпил за два года службы при Плева в этом отношении горькую чашу. Насколько, однако, он больно это чувствовал, вопрос другой, так как многое искупало эту тяжкую сторону его положения. Роскошная казенная квартира, хорошее, благодаря получавшимся им значительным наградным деньгам, содержание, возможность разыгрывать перед приезжими представителями губернской администрации роль вершителя их судеб — все это настолько прельщало Штюр-мера, что он молча переносил до грубости резкое обращение с собою Плева. В особенности же он дорожил своей должностью вследствие того, что она давала ему возможность завязать множество полезных связей в правительственных и вообще влиятельных кругах, а также удовлетворять своей страсти задавать роскошные обеды и завтраки. Действительно, преобладающим свойством Штюрмера было невероятное чванство. Насколько Витте стремился к власти для бурного применения своих творческих сил, а Горемыкин — для обеспечения себе жизненного комфорта, настолько Штюрмер искал ее для удовлетворения мелкого честолюбия и пустого чванства. Внешние атрибуты власти — шитье на мундире, ордена, которых у него было бесчисленное множество, как русских, так и иностранных, причем они были все выставлены у него в особой витрине, внешний почет — вот что единственно влекло Штюрмера к занятию высоких должностей. Сознание ответственности за порученное ему дело у него отсутствовало, как отсутствовал и живой интерес к нему. Ленив он был при этом до чрезвычайности, а потому единственной его заботой было найти таких сотрудников, которые исполняли бы за него всю работу по порученной ему отрасли. Последнее ему в значительной степени удавалось. Так, по департаменту общих дел все текущее дело вел за него один из делопроизводителей — Шинкевич, а всю работу идейную, как то: разработку законодательных предположений и составление особых записок по каким-либо сложным делам — исполнял переведенный им из Ярославля доцент государственного права Демидовского лица Гурлянд, обладавший талантливым пером, хорошими познаниями и умением приспособляться к взглядам начальства. Умом или, вернее, способностями Гурлянда Штюрмер жил во всех должностях, которые он занимал в столице. Одним качеством Штюрмер все же обладал, а именно огромным терпением. Не было того собрания, на котором Штюрмер, если входил в его состав, аккуратнейше не присутствовал, не принимая, однако, в нем никакого участия и, по-видимому, не интересуясь вовсе обсуждаемыми на нем вопросами, коль скоро они, так или иначе, не затрагивали его собственной судьбы и его личных интересов. Он даже выработал в себе особую способность мирно спать на заседаниях, сохраняя при этом вид человека, сосредоточенно слушающего все, что при нем говорится.

Само собой разумеется, что закулисные интриги Штюмер вел неизменно, но вел он их крайне осторожно, скрытно и искусно, так что обнаружить его руку в том или ином деле было весьма трудно. При этом Штюмер проявлял невероятное упорство и большую выдержку. Двенадцать лет, прошедшие между его назначением в 1904 г. членом Государственного совета и достижением им в 1916 г. премьерства, провел он в безостановочном и настойчивом искании способов достижения власти и в результате все же достиг, на собственную беду и на горе России, желаемой им цели.

Среди лиц, имевших по занимаемой ими при Плеве должности в Министерстве внутренних дел политическое значение, надо упомянуть Н.А. Зверева, начальника Главного управления по делам печати. Зверев принадлежал к той малочисленной группе профессоров, которые открыто и определенно исповедовали правые политические взгляды и были убежденными сторонниками самодержавного строя. По происхождению Зверев был сыном крестьянина Нижегородской губернии, получивший образование на средства местного помещика Хотяинцева, подметившего в шустром мальчике живой ум и жажду к знанию. Обстоятельства этого он отнюдь не скрывал, не делая, однако, из него особой для себя заслуги. Ученую карьеру Зверев оставил при назначении министром народного просвещения ректора Московского университета Боголепова, пригласившего Зверева к себе в товарищи.

Зверев был, несомненно, идеальным сторонником неограниченной монархии, причем стремился обосновать свои убеждения научно: он долгие годы трудился над составлением ученого трактата по этому предмету, который, однако, насколько мне известно, не довел до конца. Но одновременно по природе он был рабского духа и заячьей трусливости. Ко всякому начальству он питал великое уважение, а Плеве наводил на него определенный трепет. Понятно, что при таких свойствах положение печати при нем было не из легких. Предшественник его, М.П. Соловьев, рекомендованный Сипягину Победоносцевым, был человеком совершенно несуразным и лишенным всякой определенной линии поведения. При нем печать абсолютно не знала, что ей дозволено и что ей воспрещено, и ежечасно находилась под угрозой неожиданных кар, но, в общем, все же пользовалась большей свободой, нежели при Звереве. Так, при Соловьеве впервые возник у нас журнал определенно социалистического направления — «Русское богатство» и, как ни на есть, продолжал при нем существовать. Зверев был человек уравновешенный, предъявляемые им к печати требования были определенными, и, следовательно, журнальные работники могли наперед знать, какие высказываемые ими мысли навлекут на них те или иные неприятности. До известной степени новшеством была та внешняя справедливость, которую Зверев ввел в отношении печати, не знаю, по собственному ли почину или согласно указанию Плеве, а именно то, что правая печать, усердно поддерживавшая правительство, подвергалась таким

же карам, как и печать оппозиционная. Этим имелось в виду внушить обществу, что правительство вполне беспристрастно и применяет ту же мерку как к разделяющим в общем его взгляды и политику, так и к критикующим его и проводящим мысли, ему неугодные. Результат, однако, получился другой. Оппозиционная печать становилась в таком случае на сторону испытывавшего те или иные неприятности консервативного органа и, не без основания, утверждала, что не существует свободы мысли даже для друзей и что вообще душит не то, что, по мнению правительства, вредно, а то, что ему неугодно.

Как ни на есть, фактически влияния на печать Зверев не имел и иметь не мог, так как даже личных связей с ее руководителями ни в одном лагере завести не сумел. Пробыл он на своей должности, однако, в течение времени управления министерством Плеве и был заменен А.В. Бельгардом при кн. Мирском.

Среди лиц, привлеченных Плеве из Государственной канцелярии в состав Министерства внутренних дел, был, между прочим, Д.Н. Любимов, назначенный директором канцелярии министра. Сын профессора Московского университета по кафедре химии, одного из ближайших друзей М.Н. Каткова и постоянного сотрудника «Московских ведомостей», Любимов по своему воспитанию, по той атмосфере, в которой он провел студенческие годы, был, разумеется, определенным консерватором. Но основной его чертой было отнюдь не скрываемое, циничное по откровенности стремление проложить себе путь к «степеням известным». Несомненно, талантливый, обладающий бойким, даже блестящим пером, умеющий схватить на лету мысль начальства и необычайно быстро и ярко изложить ее на бумаге, снабдив такими доводами, которые и в голову не приходили автору развиваемой им мысли, он был, несомненно, драгоценным канцелярским сотрудником. Природная любезность и готовность всякому помочь, всем услужить подкупали решительно всех, с кем он имел дело. Свойство это было ему хорошо самому известно, и он использовал его в полной мере. Невольно прощали ему его шутливо-циничное подсмеивание над самим собой, даже когда он с милой улыбкой заявлял, что ему лишь бы попасть к начальству и поговорить с ним полчаса, чтобы обеспечить дальнейшее к себе благоволение. Благодаря привлекательным личным свойствам, такие заявления Любимова не вызывали возмущения даже у лиц, наименее склонных к подобному образу действий. Влияния на то или иное разрешение порученных ему дел и разрабатываемых вопросов он, при таких условиях, разумеется, не только не имел, но его и не добивался. Довольно продолжительный служебный опыт к тому же, несомненно, убедил его, что огромное большинство постоянно составляемых в петербургских высших правительственных учреждениях бесчисленных записок по самым разнообразным вопросам ни к каким реальным результатам не приводят, кроме разве одного — продвижения по службе их составителей. Так он на

них и смотрел, видя одновременно в их составлении некоторый спорт, не лишенный известной пикантности. На портфеле, в котором он возил составляемые им записки, была характерная надпись: «Sic itus ad astra»*.

Впоследствии Любимов проявил, однако, два безусловно положительных качества совершенно различного порядка. Одним из них было обнаруженное им чувство благодарности к памяти лиц, содействовавших его служебной карьере: после кончины Плеве и замены его Мирским, резко подчеркнувшим, что политику своего предшественника он порицает и намерен открыть новую эру широкого либерализма, Любимов, невзирая на то что это могло ему повредить в глазах нового начальства, составил и напечатал небольшую брошюру под заглавием «Памяти Плеве» определенно хвалебного содержания⁴¹. Это, конечно, не помешало ему продолжать службу при кн. Мирском, причем указанные выше природные его свойства сослужили ему тут их обычную службу: с Мирским у него установились столь же хорошие и едва ли не более близкие отношения, чем с Плеве.

Другое проявленное Любимовым впоследствии качество — это наличие у него административных способностей. В бытность виленским губернатором, а затем, во время войны, помощником варшавского генерал-губернатора (между двумя этими должностями он состоял товарищем главноуправляющего собственной Е[го] Императорского] В[еличества] канцелярией по принятию прошений, где также привлек всеобщие симпатии), он сумел так себя поставить, что пользовался сочувствием и доверием как русских, так и польских общественных кругов, проявив одновременно умелую и толковую распорядительность. Не могу не добавить, что он, несомненно, обладал художественным литературным талантом и богатой фантазией. Рукописное, не видевшее света по эротичности содержания исследование любовных утех в различные исторические эпохи местами напоминает творения Овидия, а напечатанный им небольшой рассказ под заглавием «Обед у губернатора» представляет бытовую сцену, достойную пера Лескова, если не Гоголя.

Портфель этот был чей-то сделанный ему подарок, но надпись характеризует всего Любимова: «Так ли продвигаются к звездам».

Командиром отдельного корпуса жандармов Плеве избрал генерала В.В. Валя, бывшего в течение довольно продолжительного времени петербургским градоначальником. Валь был типичным немцем и обладал многими присущими этому народу свойствами. Чрезвычайно добросовестный служака, твердо и неуклонно проводящий виды правительства, отстаивавший даже истинно русские интересы, что он проявлял в особенности в бытность губернатором на Волыни, где он усердно содействовал охранению памятников русской старины в этом ополяченном крае, Валь не обладал ни бойким, ни глубоким умом. Полицейское дело он

знал, несомненно, в совершенстве и, конечно, был убежденным и крайним консерватором. Как большинство лиц, служивших на полицейских должностях, Валь, разумеется, подвергался постоянным нападкам, причем не оставляла его и клевета. Так, Валя общественное мнение и городские слухи причисляли к взяточникам, но это, безусловно, неверно. Валь был, несомненно, вполне честным человеком. Несмотря на немецкую бережливость, средства Валя были весьма ничтожны. [В бытность его] впоследствии членом Государственного совета, единственным источником его существования было получаемое им по службе содержание. Влияния на политику Министерства внутренних дел Валь не оказывал, так как непосредственного отношения к политической стороне деятельности своих подчиненных по корпусу жандармов он не имел: деятельность эту всецело направлял департамент полиции. Но с политикой, проводимой этим департаментом и, к сожалению, одобряемой Плеве, он был совершенно не согласен. Зубатовщина была ему столь же непонятна, сколь представлялась фантастичной по замыслу и вредной по последствиям. В сущности, с Лопухиным он был в постоянном антагонизме, что, впрочем, было неизбежно вследствие той двойной подчиненности, в которой состояли чины корпуса, главой которого он состоял. Не сочувствовал он тоже и провинциальной деятельности департамента полиции, что неоднократно высказывал Плеве.

Нежностью он, однако, не отличался и на политических заключенных, хотя бы они не участвовали ни в каких деяниях уголовного свойства, смотрел как на обыкновенных преступников. Зависевший в значительной степени от него тюремный режим этой категории заключенных он отнюдь не смягчал. Прямолинейный немец, он не видел никаких оснований облегчать участь людей, замышлявших гибель государства, как он его понимал, причем мотивы их действий были ему при этом совершенно безразличны. Обращение его с политическими заключенными было исключительно начальственное и, несомненно, жесткое и сухое. В Шлиссельбургской крепости он отнял у Веры Фигнер шелковые чулки. По воспитанию, теориям и идеям он принадлежал к предыдущей эпохе и, разумеется, терпимостью к чужим взглядам не отличался. В умственно расшатанном, лишенном стойких убеждений вообще и искренней приверженности к существующему государственному строю в частности русском правительственном составе начала XX в. Валь был, несомненно, анахронизмом. При всей бюрократичности Плеве, он был все же значительно современнее, нежели Валь, представлявший тип администратора времен Александра II. Отношения его с Плеве были дружескими. Плеве ценил в нем точного и исполнительного подчиненного, могущего иногда в душе не соглашаться с полученными им распоряжениями, но не допускаявшего и мысли извращать их смысл в порядке их осуществления. Когда Плеве под конец убедился во всей вредности деятельности Зубатова, причем даже заподозрил его в двойной игре, то произвести у него обыск и отобрать у него все дела он

поручил именно Валю, что, впрочем, в данном случае вполне согласовалось с мнением о Зубатове и его деятельности самого Валя.

Во главе переселенческого управления Плеве застал А.В. Кривошеина. Что сказать про этого человека, игравшего впоследствии весьма крупную роль в правительственном синклите? Сдается, что самой выдающейся его чертой было желание и стойкое стремление взять от жизни все, что она может дать лучшего во всех отношениях. Цель эту поставил себе Кривошеин с молодости и к ней неукоснительно и твердо стремился. При этом он весьма скоро понял, что лучший способ пробить себе дорогу в жизни — это составить себе обширные и полезные связи в самых различных кругах, не исключая при этом и дамской помощи. Судьба ему улыбнулась в этом отношении со студенческих лет, когда он сумел сойтись с сыном министра внутренних дел гр. Д.А. Толстого пресловутым «Глебушкой» — полуидиотом, отличавшимся необычайным аппетитом и думавшим только о том, что он в течение дня съест. Гр. Толстой, не терявший надежды так или иначе развить своего сына, вздумал послать его в заграничную образовательную поездку в сопровождении нескольких лиц, на обязанности которых было разъяснить «Глебушке» все значение и смысл обзореваемого. В числе этих спутников были между прочими художник Прахов и Кривошеин. Это же знакомство с Толстым обеспечило Кривошеину и начало его карьеры. При Толстом он был назначен комиссаром по крестьянским делам уездов Царства Польского и при нем же переведен в центральное управление министерства, а именно в земский отдел. С выделением из этого отдела особого переселенческого управления Кривошеин был переведен туда. Здесь его начальством оказался некто Гиппиус, которого он сумел очень скоро обворожить, последствием чего явилось его назначение помощником начальника переселенческого управления. Чем брал при этом Кривошеин, трудно сказать, ибо к работе склонности у него никогда не было, не обладал он при этом и ни талантливым пером, ни красноречием. В дальнейшем ему помог счастливый для него случай. Его начальник Гиппиус сошел с ума и в качестве сумасшедшего не мог быть по закону уволен от занимаемой должности ранее истечения года. Во временное управление отделом автоматически вступил Кривошеин. В этом положении его застал при назначении министром внутренних дел Сипягин и назначенный последним заведовать переселенческим управлением Стишинский. Обворожить последнего Кривошеину ничего не стоило, равно как одновременно сдружиться со служившим в переселенческом управлении сыном Плеве.

Любопытно, что при этом Кривошеин никогда сколько-нибудь определенно своих политических взглядов не высказывал, так что никто не мог бы цитировать каких-либо его слов или заявлений, по которым его можно было бы причислить к определенному политическому лагерю. Но одновременно всем своим обращением он давал ясно понять, что согласен с мнением тех

лиц, с которыми разговаривает, если расположение этих лиц он считал для себя сколько-нибудь полезным. Совершенно не разбиравшийся в людях, чуждый сам побочных приемов для достижения какой-либо личной выгоды, пробивший себе дорогу добросовестной работой и столь же стойкой, сколь искренней приверженностью к определенно консервативным взглядам, Стишинский был прямо очарован умным и ловким Кривошеиным, умевшим выказать свое преклонение перед начальством без всякого наружного подобоострастия и лести.

Само собой разумеется, что при таких условиях Кривошеин при первой возможности был назначен на должность начальника переселенческого управления. При назначении Плеве министром внутренних дел Кривошеин был одним из немногих начальников отдельных управлений этого ведомства, которые не были заменены другими лицами. Последнему, вероятно, содействовало то обстоятельство, что до этого назначения в переселенческом управлении служил, как я уже упомянул, единственный сын Плеве, с которым Кривошеин, невзирая на значительную разницу в годах, свел тесную дружбу. Однако если Плеве сохранил Кривошеина, то все же относился к нему весьма критически, поначалу же даже явно к нему придирался, причем придирки эти, не встречая отпора со стороны последнего, становились все ядовитее, все резче. Наконец, дошли до того, что на одном докладе, летом 1903 г., Плеве в присутствии нескольких лиц из состава Министерства внутренних дел обошелся с Кривошеиным с явной грубостью. При этом инциденте выказался характер Кривошеина, умение его, когда нужно, предпринимать решительные шаги. Действительно, вопреки общему мнению, Кривошеин отнюдь не был лишен характера и решимости, но этот характер был соединен с исключительной рассудительностью. Сгоряча, тщательно не обдумавши всех обстоятельств каждого данного положения, он никаких сколько-нибудь затрагивающих его личные интересы решений не предпринимал, но это вовсе не означало, что он не был способен на действия весьма решительные и, следовательно, неизбежно сопряженные с известным риском. Однако предпринимал он их в крайних случаях, и притом когда риск, сопряженный с их принятием, был, по его предварительно тщательно обдуманному убеждению, меньший, нежели тот, который угрожал ему при отсутствии с его стороны активного противодействия создавшемуся положению.

Ярким образчиком рассудительности Кривошеина, присущей ему склонности тщательно взвешивать все свои поступки и большой выдержки явился впоследствии отказ от министерского портфеля, который ему предложил Горемыкин при образовании им в 1906 г., после отставки Витте, своего кабинета. Для Кривошеина, в то время занимавшего должность товарища министра финансов, это был огромный карьерный шаг. Однако он не принял этого назначения, так как вовсе не был уверен в прочности кабинета Горемыкина, а быть может, и всего существовавшего строя, и предпочел

скромно остаться на второй роли, не обязывавшей его выявлять свое политическое лицо.

Именно так оценил обстановку Кривошеин после публично высказанного ему в весьма резкой форме Плеве неудовольствия. В тот же день отправился он к Плеве и определенно заявил, что дальнейшую совместную службу с ним он признает для себя невозможной, а потому просит о своем увольнении от должности. Я уже упомянул, что Плеве принадлежал к тем лицам, которые любят говорить другим дерзости, но одновременно презирают тех, кто их спокойно выслушивает, и, наоборот, исполняются уважением к людям, не позволяющим наступить себе на ногу. То же произошло и в данном случае. Плеве упросил Кривошеина службы в министерстве не оставлять и с этого времени совершенно изменил свое отношение к нему. Когда же осенью того же 1903 г. Плеве совершал поездку по Сибири в сопровождении Кривошеина, то вернулся уже вполне им очарованный.

Произошла, однако, одновременно и перемена в Кривошеине. Зорко присматриваясь к ходу событий, наблюдая за все растущим общественным неудовольствием, Кривошеин усмотрел возможность резкого изменения государственного курса, что было бы, конечно, сопряжено с переменой в личном составе правительственного синклита, и принялся за установление личных связей в кругах, враждебных Плеве, причем начал осторожно и мягко критиковать его политику, в особенности антиземскую, чего он, впрочем, не скрывал и от самого Плеве. Так, когда возник вопрос о не утверждении Д.Н. Шилова председателем московской губернской управы, он прямо высказал Плеве, что такое решение было бы чрезвычайно нетактичным и могущим вызвать серьезные последствия.

Особое положение занял он и в крестьянском вопросе. Приглашенный к участию в обсуждении выработывавшихся в земском отделе проектов узаконений о крестьянах, он, однако, никакого деятельного участия в этом обсуждении не принимал и совершенно не высказывался по основному вопросу, а именно сохранении в порядке управления и суда крестьянской обособленности или слияния крестьян в этом отношении с лицами всех прочих сословий. Менее сдержан, однако избегая и здесь сколько-нибудь решительных суждений, был Кривошеин в вопросе об общинном либо личном землевладении крестьян. Усматривая, что в этом вопросе правительственная политика сливается с убеждениями различных по их направлению общественных кругов в том смысле, что они одинаково отстаивают земельную общину, вероятно полагая, что при таких условиях именно эта политика в конечном результате восторжествует, Кривошеин высказывался против ломки общинных порядков. Такая позиция представлялась в то время наиболее демократичной. Действующий закон охранял общину, а при существовавшем строе всякое сколько-нибудь решительное изменение закона было бесконечно труднее осуществить,

нежели остаться при существующем порядке. Изменение этого закона представлялось ввиду этого маловероятным. С этой точки зрения он сошел значительно позднее, а именно лишь незадолго до назначения главноуправляющим землеустройства и земледелия. Сделал он это в исключительно торжественной форме, а именно: участвуя однажды в Совете министров еще в качестве товарища министра финансов, заведующего Дворянским и Крестьянским банками, он определенно заявил, что, объехав некоторые сельские местности, где уже происходит выселение крестьян на хутора, он убедился, насколько он заблуждался, когда высказывался за сохранение общины. Единственным спасением России и вернейшим средством обеспечить ее материальное процветание и даже умственное развитие народных масс является самое энергичное проведение в жизнь Высочайшего указа 9 ноября 1906 г. о праве выхода крестьян из общины при усиленном содействии к образованию ими отдельных хуторов. Было ли это искреннее убеждение в полезности меры или только утвердившаяся в нем уверенность, что путь, на который стало правительство, будет им стойко осуществляться и что, следовательно, примкнувши к этому движению, ему всего легче увенчать свою служебную карьеру? Я лично думаю, что тут было и то и другое. Дело в том, что Кривошеин обладал выдающимся умом, тонким политическим чутьем, умением разбираться в сложной политической обстановке, но серьезных знаний у него не было, как не было и знакомства с народной жизнью. При таких условиях вполне обоснованного мнения в вопросе о крестьянском землепользовании он иметь не мог. Когда же он воочию увидел, какая пропасть отделяет крестьянское обособленное хозяйство от того же хозяйства, подчиненного принудительному севообороту общины, он не мог не убедиться в превосходстве первого над вторым. Однако едва ли он стал бы ломать копья за решительные меры, направленные к насаждению единоличного крестьянского землепользования, если бы одновременно не пришел к убеждению, что правительство твердо стало на этот путь и что глава правительства, Столыпин, намерен неуклонно идти в этом направлении.

Перечитав набросанные мною краткие характеристики лиц, стоявших во главе отдельных управлений Министерства внутренних дел в начальные годы века, я невольно задался вопросом: дают ли они правильную оценку этих лиц, не увлекся ли я передачей мелких фактов, рисующих некоторые их слабости и не имеющих существенного значения и, во всяком случае, не отражающих их основных свойств? Людей совершенных на свете нет, и даже лучшие имеют свои недостатки и в течение своей жизни совершают такие отдельные поступки, которые сами же потом мысленно клеймят. Слишком легко ввиду этого, приводя о каком-либо лице единичные, рисующие его факты, дать ложное представление о них. Людей характеризуют не отдельные, выхваченные из их жизни эпизоды, а лишь общая сумма таковых. Для правильной характеристики людей надо из множества свойств каждого лица, как добродетелей, так и недостатков, выделить те, которые являются

преобладающими у него. Между тем я не упомянул, что все или почти все обрисованные мною лица хорошо знали порученное им дело и живо им интересовались; в сущности, именно в этом деле, в содействии его улучшению и развитию видели они смысл своего существования. Все они имели свои недостатки — это несомненно. Не были они людьми, всецело забывающими свои интересы, — это тоже верно, но спрашивается, где же они вообще? И не были ли лица, пробывавшиеся у нас на верхи иерархической лестницы, все же лучшее, что могла дать Россия, что вообще в этом отношении дает род людской в любой стране? Если рассматривать их со стороны их умственных способностей, их общей образованности, то они, несомненно, принадлежали к нашим умственным верхам. Был у них, кроме того, и служебный опыт, и административные навыки. Словом, сравнивать этих людей с теми, которые заполняли наши общественные учреждения, как земские, так и городские, даже просто нельзя. Работа в правительственных учреждениях, независимо от степени плодотворности, была огромная, причем работы этой было тем больше, чем выше была занимаемая человеком должность. В сущности, у большинства петербургской чиновной бюрократии личной жизни почти не было. Время проходило между служебным кабинетом в здании министерства, бесчисленными, преимущественно вечерними заседаниями в том или ином ведомстве и письменным столом в домашнем кабинете, от которого можно было оторваться лишь среди глубокой ночи. Прибавлю к этому русское неумение отделять праздник от будней, благодаря чему свободного времени, в сущности, никогда не было, и знакомые с нашей провинциальной жизнью и с работой в общественных учреждениях должны будут признать, что, как ни на есть, служба правительственная поглощала почти без остатка все, что было лучшего в стране, как в смысле умственном, так и нравственном, и что, следовательно, широко распространенный фаворитизм у нас не практиковался. Конечно, бывали назначения, обусловленные исключительно протекцией, однако почти исключительно на весьма второстепенные должности или на существовавшие в общем в весьма незначительном числе sinecure, да и они занимались преимущественно лицами, проведшими долгие годы на службе, но выслужившими лишь ничтожные пенсии, так как наш давно устаревший пенсионный устав вообще сколько-нибудь достаточных для обеспечения скромного, но безбедного существования средств пенсионерам не представлял.

Конечно, можно рисовать идеальные фигуры революционной общественности, как это сделал, например, в своих воспоминаниях Савинков, на душе которого множество им задуманных и подготавливаемых, но исполненных чужими руками убийств. Владельцев этих рук Савинков и воспекает — меньшего для них он сделать и не мог.

Петербургское высшее чиновничество почиталось совершенно напрасно, и притом отнюдь не одними оппозиционными элементами, а едва ли не всей

провинцией, за людей, мало что знающих, еще меньше работающих и ограничивающих свою деятельность появлением на час-другой в министерстве, чтобы выслушать там два-три доклада и принять двух-трех приезжих из провинции. В особенности же были убеждены, что все движение по службе основано исключительно на протекции, причем приписывалось оно женскому влиянию. Представление это совершенно фальшивое. Работой были завалены чины всех министерств, работой нервной, не дававшей покоя ни в будни, ни в праздники. Что же касается денежной честности высшего состава правительства, то, за редкими исключениями, она была безупречна. Говорить теперь о хищениях, будто бы производившихся нашими сановниками, после того как раскрылись все государственные архивы и опубликованы наиболее секретные документы, после того, как сначала Временное правительство, а затем большевики произвели самые тщательные следствия о деятельности наших министров, причем им не удалось обнаружить ни одного компрометирующего их факта, можно только, если сам не обладаешь ни малейшей долей добросовестности.

Я, разумеется, не намерен оскорбить наш старый правящий слой сравнением его в каком-либо отношении с шайкой грабителей, именуемой Советской властью. Я сравниваю его с правительствами Западной Европы и утверждаю, что он был безусловно честнее и бескорыстнее последних.

Быть может, взяточничество, в его чистом виде, на Западе среди правящего круга распространено еще в меньшей степени, чем у нас, но стремление к обогащению у него развито неизмеримо больше и достигается преимущественно иными путями. Одновременное нахождение у власти и участие в крупных промышленных и финансовых предприятиях там явление не только заурядное, но обычное. При таких условиях прибегать для получения средств к взятке не приходится. Этот грубый, примитивный и небезопасный способ давно заменен другим, тонким, современным и совершенно, по его неуловимости, безопасным. Своевременное сообщение того или иного предстоящего правительственного решения или действия; косвенная, одним присоединением своего имени, поддержка того или иного частного предприятия и множество иных разнообразных способов содействия доходности промышленной или банковской фирмы или хотя бы подъему рыночной цены их акций приносит значительно большие суммы, нежели первобытное, наивное по своей упрощенности взяточничество. В результате на Западе почти все лица, побывавшие сколько-нибудь продолжительное время у власти или хотя бы имевшие значительное влияние в среде какой-либо политической партии, составили себе крупные состояния. Обстоятельство это всем известно, но весьма мало кем осуждается и признается естественным.

Между тем у нас силою закона совмещение казенной службы с частной в качестве директоров или членов совета каких-либо представляющих Денежные выгоды обществ и учреждений было прямо запрещено.

Упрекали и поносили наше чиновничество за то, что оно стремилось к занятию должностей, представляющих пользование казенной квартирой; что оно искусственно устраивало себе служебные командировки, будто бы хорошо оплачиваемые; что оно выкраивает себе наградные деньги из остаточных сумм от незамещенных в течение некоторого времени должностей, но как все это ничтожно и как все это доказывает обратное, а именно, что средствами даже крупное чиновничество совсем не обладало и жило исключительно на получаемое жалованье, размеры которого, с удорожанием жизни, становились, по существу, все более незначительными.

В результате получалось, что люди, занимавшие в течение долгих лет первостепенные государственные должности, уходя в отставку, лишь кое-как перебивались, живя на одну получаемую ими скудную пенсию, а умирая, оставляли детям в виде наибольшей ценности орденские знаки да серебряные альбомы с фотографиями своих бывших сослуживцев, полученные ими от них при оставлении службы.

Правда, что в самое последнее время эти, можно сказать, спартанские нравы начали меняться. Стремительное развитие нашей промышленности и банковских операций породило другое явление, а именно все участвующий переход с казенной службы на частную более или менее видных деятелей, в особенности Министерства финансов и, в частности, кредитной канцелярии, причем присваиваемые им содержания достигали фантастических сумм. Нет сомнения, что при этом учитывались служебные связи приглашаемых на частную службу и их знание тех ходов и приемов, при помощи которых всего легче было получить то или иное правительственное разрешение, добиться утверждения того или иного устава, а в особенности получить желаемую правительственную концессию.

Наряду с этим со времени учреждения выборных законодательных установлений началось привлечение в состав правлений и советов частных предприятий влиятельных членов как нижней, так и верхней палат.

Словом, можно сказать, что нравы Западной Европы в отношении стремления служилого слоя не только и даже не столько к власти и почету, сколько к обогащению начали распространяться у нас, и весьма возможно, что они в короткое время стали бы господствующими. Однако в общем личный состав русских правителей до самых последних лет старого строя служил из чести, а не из корысти, и, сохраняя, разумеется, все людские свойства и недостатки, наша бюрократия и воинский командный состав и

мыслью и душой служили не себе, а государству, честь и достоинство которого им были бесконечно дороги.

Значит ли это, что все дела вершились у нас в соответствии с народными потребностями? Разумеется — нет. Но зависело это не от свойств преобладающего числа лиц, составлявших в совокупности государственный и правительственный аппарат, а от многих других весьма сложных и разнообразных причин, из которых здесь привожу лишь главную, а именно невероятно быстрое увеличение численности населения империи при чрезвычайно усложнившихся условиях быта и при все более сказывавшейся по мере [роста] его культурного уровня разноплеменности.

Справиться со всеми этими навалившимися задачами ни одна власть была бы не в состоянии. Перестройка всего государственного здания была неизбежна, но для этого нужен был гений, размах и воля Петра, какового в нужный момент Россия, увы, не выставила.

Глава 4 Борьба Плеве с Витте

Основные причины расхождения Плеве с Витте • Образование совещания по сельскохозяйственной промышленности • Влияние на Витте кн. А.Д. Оболенского и М.А. Стаховича • Их характеристика • Комиссия кн. А.Д. Оболенского о направлении и деятельности Крестьянского поземельного банка • Фабричная инспекция; ее подчинение органам Министерства внутренних дел • Манифест 26 февраля 1903 г. • Одно из свойств Николая II • Случай с Клоповым • Местные сельскохозяйственные комитеты • Увольнение Витте от должности министра финансов и назначение В.Н. Коковцова.

Зима 1902—1903 гг. в бюрократических петербургских сферах прошла под знаком борьбы Плеве с Витте, той борьбы, которую опытное в этом деле петербургское чиновничество предчувствовало и предсказывало еще при самом назначении Плеве министром внутренних дел. Вызвана была эта борьба как личными свойствами этих двух властолюбивых по природе людей, так и коренной разницей в их политических взглядах.

Витте строил всю свою деятельность на мерах экономических и стремился поддержать лишь те общественные силы, которые, по его мнению, могли содействовать развитию хозяйственной жизни страны. Вполне правильно признав, что Россия в условиях современности не может сохранить своего международного положения, своей независимости от Западной Европы без развития своей находившейся еще в то время почти в зачаточном состоянии промышленности, Витте направил к этой цели всю свою кипучую энергию. На сельское хозяйство при этом он смотрел как на нечто уже существующее и не требующее искусственной поддержки, а на представителей рентного землевладения как на людей, не способных толко во вести какое-либо

производство, а тем более содействовать накоплению капиталов в стране, чему Витте придавал особое значение.

Не зная совершенно сельской России, не имея точного представления об основных свойствах земледелия, препятствующих вообще, вследствие длительности сельскохозяйственного производства и происходящей от этого медленности оборота вложенных в него средств, высокой прибыльности этой отрасли промышленности, он, кроме того, по особым причинам признавал нужным не только не содействовать повышению цен на сельскохозяйственные продукты, и в частности на зерно, а, наоборот, по возможности способствовал понижению этой цены. Дело в том, что Витте находился под сильным влиянием человека, которого он по справедливости высоко ценил и мнению которого придавал огромное значение, а именно нашего знаменитого химика Д.И. Менделеева. Между тем Менделеев, всемерно стремившийся развить все производительные силы России, признавал нужным воздействовать, как это ныне говорится на современном quasi (44) научном жаргоне, «на факторы, которые находятся в минимуме», что обозначает на простом русском языке, что он признавал нужным в особенности поддерживать те отрасли народного хозяйства, которые наименее развиты. Такой отраслью была обрабатывающая, а в особенности добывающая промышленность. Но как было ее поддержать, как дать ей возможность успешно соперничать с развитой западноевропейской, опирающейся на обладающих давними производственными навыками, а следовательно, весьма продуктивных рабочих? Высокими таможенными ставками? Установить их в любом размере мы не имели возможности: Запад ответил бы нам репрессалиями, которых мы не могли выдержать. Оставалось лишь одно — обеспечить русской обрабатывающей и добывающей промышленности настолько дешевые рабочие руки, чтобы, несмотря на то что это будут первоначально руки неумелые, все же на единицу произведенного продукта цена работы была бы меньше, нежели она обходится Западной Европе. Но обеспечить дешевые рабочие руки возможно было только удержанием цены на жизненные припасы, прежде всего на хлеб, на низком уровне.

Была, однако, еще причина, по которой Витте относился к земледельческому классу отрицательно, а именно те ходатайства, которые к нему поступали от этого класса об уменьшении процента по ссудам из Дворянского земельного банка; о выдаче пособий на дворянские кассы взаимопомощи и на некоторые иные сословные нужды; а в особенности — постоянные просьбы отдельных заемщиков Дворянского банка об отсрочках и рассрочках причитающихся с них срочных платежей. Витте не признавал и не желал признавать, что просьбы эти вызваны лишь в отдельных и, в общем, редких случаях тем, что землевладельцы жили свыше своих средств, что в подавляющем большинстве случаев они проистекали, с одной стороны, от того неправильного назначения, которое получали у нас средства, добытые под

залог земли, а с другой, от господствовавшего в то время сельскохозяйственного кризиса, обусловившего крайне низкую доходность земельных имуществ.

Ипотечный земельный кредит, употребленный не на развитие и усиление сельскохозяйственного производства того имущества, под которое он был получен, везде и неизменно ведет к обременению и ослаблению производства. У нас же, где он шел главным образом на выделение наследственных долей членов семьи, уступивших собственное земельное имущество своим наследникам, он нередко приводил к тому же результату даже и в тех случаях, когда полученные от него средства употреблялись на оборудование сельского хозяйства перерабатывающими сельскохозяйственные продукты промышленными заведениями и вообще сельскохозяйственным инвентарем. Произошло это от того страшного, хотя, разумеется, неизбежного кризиса, который испытало наше рентное землевладение, когда, лишившись дарового крепостного труда, оно было вынуждено сразу перейти от натурального к денежному хозяйству при условиях, к тому же весьма для него неблагоприятных, и при отсутствии у землевладельцев как теоретических, так даже и практических познаний в сложном деле организации товарного производства сельскохозяйственных произведений.

Всего этого Витте не сознавал и, видя перед собой землевладельцев преимущественно в роли неоплатных должников Дворянскому банку, умоляющих об отсрочках платежей, он признавал едва ли не всех русских землевладельцев за расточителей, не способных не только увеличить общее богатство страны, но даже удержаться от личного разорения.

Что же касается значения русского дворянства как служилого сословия, то он склонен был смотреть на него с интеллигентской точки зрения, разделяемой в последнее время и промышленным классом, а именно как на паразитов, пользующихся неоправдываемыми привилегиями. Совершенно упускал он при этом из вида, что тут вопрос шел не о привилегиях, а о том, что при всех своих недостатках это был единственный слой, обладавший государственным пониманием вещей. Быть может, эта государственность была даже не вполне сознательная, а являлась лишь следствием служения государству в длинном ряду предшествующих поколений, но это не меняло существа дела. Государственностью русское служилое сословие в своей массе было проникнуто, она составляла ее неотъемлемую, органическую часть. Впрочем, была ли наша бюрократия дворянской? Достаточно перебрать хотя бы министров царствования Николая II, чтобы убедиться, что большинство их не принадлежало ни к дворянскому, ни к землевладельческому классу. Плеве, Кривошеин, Ванновский, Куропаткин, Небогатое, Корнилов, Алексеев, Боголепов, Победоносцев (если взять второе

поколение), Макаров, Рухлов, Рождественский, Третий Филиппов, Гире — все были из разночинцев, никто не принадлежал к знати.

Витте, возможно, думал, что служилое сословие могло быть заменено представителями промышленного слоя. Но это глубокое заблуждение. Даже в таких торговых республиках, каковыми были в свое время Венеция и Генуя, а ныне является Англия, служилый правящий слой никогда не сливается и никогда не происходил из торгово-промышленной среды. Последняя по самому существу своей деятельности силою вещей привыкла обсуждать все встречающиеся вопросы с точки зрения личной выгоды и подняться в массе до широкого, всеобъемлющего государственного взгляда не в состоянии. Это не означает, разумеется, что служилое сословие в лице своих отдельных членов не заботилось столько же о своем личном благе, как все остальные слои населения, но угол зрения у него от долгого заведования делами общего значения был, несомненно, иной.

Можно, конечно, сказать то же самое и про бюрократию, но она страдает другим недостатком — оторванностью от жизни. В западных демократиях старый служилый слой в некоторых странах не без успеха, однако лишь после длительного критического периода заменен представителями свободных профессий, преимущественно практиками-юристами. Едва ли возможно это было в России в начале XX в.

Иначе смотрел на положение вещей в России Плеве. Не будучи вовсе экономистом, он не постигал всех положительных сторон кипучей деятельности Витте, но зато как администратор, не лишенный государственного понимания, видел в землевладельческом классе наиболее консервативный элемент населения страны, в сущности — ее остов. Не принадлежа сам к дворянству и не имея в его среде сколько-нибудь обширных связей, он, быть может, даже преувеличивал его значение или, вернее, силу. Не видел он при этом и тех элементов, которые могли бы в массе заменить дворянство на «стезе службы государственной».

Возможно, наконец, что он некогда стал на почву защиты интересов дворянства по карьерным соображениям, а затем лишь автоматически следовал по этому пути.

Таким образом, борьба Витте с Плеве была, в сущности, борьбой экономиста с администратором-государственником. Экономист Витте не понял, что нельзя создать мощной промышленности в земледельческой, по существу, стране, лишенной к тому же возможности экспортировать продукты своего фабрично-заводского производства, разоряя сельское хозяйство, ибо тем самым уничтожаешь покупательную силу того единственного рынка, который может поглотить продукты этой промышленности. В области же политики экономист Витте, вообще мало в ней разбиравшийся, не постигал,

что землевладельческий класс — устой крепости государственного организма и вместе с тем его основной культурный элемент.

Наоборот, администратор Плеве не понимал, что без развития промышленности, без отвлечения значительной части населения к фабрично-заводской работе Россия не может использовать всей рабочей силы ее ежегодно возрастающего огромного населения и, следовательно, обречена на обеднение; что иным путем не может Россия отстоять своей государственной и национальной независимости от напирющей на нее огромной производительной силы Запада.

Не постигал Плеве и того, что земельное дворянство силою вещей обречено на постепенную утрату если не всей, то значительной части своей силы, что рядом с ним возникает другой класс, приобретающий огромное органическое значение в социальном строении государства, а именно торгово-промышленный, и что если этот класс не может ни заменить дворянство, ни вообще, по роду своих занятий, дать кадр служилого правящего слоя, то все же считаться с ним правительственная власть вынуждена и привлечь его к себе обязана.

Не придавал Плеве достаточного значения и численно все возрастающему классу представителей свободных профессий.

Однако едва ли не самое непонятное в той политике, которую избрал Плеве, — это желание опереться на дворянство и одновременное возбуждение против себя всей земской среды, хотя не только фактически, но даже по избирательному закону земская среда была преимущественно средой земельного дворянства.

Правда, что на практике дворянские собрания были в общем значительно правее, нежели собрания земские, но происходило это вследствие того, что в собирающихся раз в три года дворянских собраниях участвовали и такие дворяне, которые, в сущности, с местной жизнью имели весьма мало общего. Такими членами дворянских собраний были лица, находящиеся на государственной гражданской и военной службе, не могущие, да и не желавшие принимать деятельного участия в местной общественной жизни, но охотно приезжавшие раз в три года в свои губернии для поддержания связей с местным дворянским элементом. Таким образом, правизна дворянских собраний зависела в значительной степени от участия в них бюрократического, преимущественно петербургского, элемента и гвардейского офицерства. Более верным отражением настроений землевладельческого элемента, принимавшего деятельное участие в местной общественной жизни, были, несомненно, земские собрания. Следовательно, опираться на поместный класс, одновременно входя в конфликт с земством, значило, в сущности, опираться на известный слой чиновничества, не

могущий быть органической опорой существующего строя, по той простой причине, что он уже был его механическим остовом. В результате получилось, что та часть русского землевладельческого слоя, которая имела общественное значение и силу и, следовательно, могла представить некоторую опору для правительства, превратилась в силу, ему оппозиционную, и склонялась она скорее на сторону Витте, в сущности ее органического противника, нежели на сторону Плеве, однако искренне желавшего поддержать дворянское землевладение.

Витте к 1902 г., по-видимому, понял это и, поняв, не замедлил приложить все усилия для привлечения симпатий земских кругов. Первый шаг в этом направлении был им предпринят еще при Сипягине, когда он образовал под своим председательством особое совещание о нуждах сельскохозяйственной промышленности, хотя, конечно, это не была единственная цель, которую он при этом преследовал.

Всех побуждений Витте в этом деле я не берусь объяснить. Было ли это следствием проникшего в него наконец сознания, что без поднятия уровня сельского хозяйства в стране невозможно не только дальнейшее развитие русской обрабатывающей и добывающей промышленности, но даже сохранение тех размеров ее производства, которых она к тому времени достигла, за отсутствием рынка, могущего поглотить ее продукты. Или это была лишь диверсия — желание успокоить, а в особенности обезоружить все усиливающуюся со стороны землевладельческого класса критику и оппозицию его односторонней экономической политики. Имел ли он в виду рассмотреть вопрос о подъеме сельского хозяйства без всяких предвзятых мыслей и заранее принятых решений, желая в нем добросовестно при помощи специалистов разобраться и затем согласовать свою дальнейшую деятельность с теми заключениями, к которым его приведет ближайшее ознакомление с состоянием и нуждами сельского хозяйства? Хотел ли он, наконец, провести через сельскохозяйственное совещание некоторые меры, касающиеся крестьянского вопроса, как он это утверждает в своих воспоминаниях⁴⁶, извращая, однако, фактическую сторону образования этого совещания, — решить в настоящее время нет возможности. Как известно, вихрь событий вскоре изменил всю конъюнктуру, при которой было образовано сельскохозяйственное совещание. Сама же деятельность его происходила уже в то время, когда Витте превратился из министра финансов в председателя Комитета министров, причем одновременно тем самым лишился сколько-нибудь обширной власти. При таких условиях судить по тому, во что превратилось фактически это совещание, о тех замыслах, которые руководили Витте при его образовании, нет возможности. При новых создавшихся условиях Витте легко мог признать нужным дать этому совещанию совершенно иное направление, нежели первоначально им задуманное.

Думается, однако, что Витте одновременно преследовал все перечисленные, на первый взгляд как будто бы противоречивые, цели, причем весьма возможно, что затаенной целью был именно если не пересмотр узаконений о крестьянах в целях упразднения или хотя бы существенного смягчения сословной, в порядке управления и суда, обособленности крестьянства, то, по крайней мере, оказание существенного влияния на пересмотр означенных узаконений, возложенный Высочайшим указом 14 января 1902 г. на Министерство внутренних дел. Несомненно, во всяком случае, что на ускорении этого пересмотра, давно признанного необходимым, настоял именно Витте. Но при этом он надеялся, что пересмотр этот будет возложен на особую вневедомственную комиссию под председательством лица, взгляды которого по крестьянскому вопросу совпадали бы с его взглядами. Было им намечено при этом и лицо это, как он об этом упоминает в своих записках, а именно кн. Алексей Дмитриевич Оболенский, бывший в то время товарищем министра финансов — управляющим Дворянским и Крестьянским поземельными банками. Однако эти предположения Витте не осуществились, вероятно, благодаря Сипягину, который хотя во многом и действовал согласно с нашептанными ему Витте мыслями, но выпустить из своих рук столь важный вопрос вовсе не был намерен. Ввиду этого можно думать, что ближайшим поводом учреждения сельскохозяйственного совещания было состоявшееся возложение пересмотра узаконений о крестьянах на министра внутренних дел. Действительно, прошло лишь девять дней со времени появления Высочайшего по этому предмету указа, как состоялся другой Высочайший указ — 23 января 1902 г., коим образовывалось под председательством Витте сельскохозяйственное совещание, включавшее в свой состав многих министров и вообще по своему внешнему аппарату являвшееся надведомственным установлением и имеющее, следовательно, возможность при некоторой умелости его председателя войти в рассмотрение любых вопросов, сколько-нибудь соприкасающихся с сельским хозяйством. При этом Витте мог не только думать, но даже быть уверенным, что раньше, нежели Министерство внутренних дел исполнит хотя бы часть возложенной на него работы, он сумеет своим обычным стремительным натиском разрешить в своих кардинальных линиях весь вопрос.

Убийство Сипягина и назначение Плеве разрушили эти планы Витте. С назначением Плеве министром внутренних дел Витте знал, что работы в Министерстве внутренних дел примут иной, значительно более быстрый темп. Как было обойти это новое обстоятельство? Каким образом сохранить за собой решающее значение в этом вопросе? Для парирования этого удара Витте вынужден был изобрести новые способы действий. В этих видах сельскохозяйственное совещание под его председательством спешно составляет программу своих занятий, причем признает, что ранее приступа к ее выполнению необходимо опросить местных людей по включенным в нее вопросам. С этой целью образуются местные губернские и уездные

сельскохозяйственные комитеты, причем им предоставлено право коснуться в своих суждениях помимо вопросов чисто сельскохозяйственных и вопросов местной жизни также и «вопросов общего правопорядка и общего управления, поскольку таковые отражаются на сельском хозяйстве и местной жизни вообще». При этом Витте заранее был вполне уверен, что так как уездные сельскохозяйственные комитеты образуются под председательством уездных предводителей дворянства из председателя и членов уездной земской управы и лиц, приглашенных их председателем, то они, несомненно, воспользуются предоставленным им правом расширения предложенной им программы, в первую очередь, для обсуждения крестьянского вопроса. Таким путем должно было получиться следующее странное и отвечающее видам Витте положение. Пока Министерство внутренних дел будет выработать проект новых узаконений о крестьянах, основные вопросы, касающиеся крестьянских распоряжений, будут уже рассмотрены местными людьми. Затем произойдет *chasse-croise*⁴⁷, т.е. проект Министерства внутренних дел будет отослан на места для обсуждения местными людьми, которые, однако, уже обсудили крестьянский вопрос в сельскохозяйственных комитетах, а отзывы этих последних поступят в особое совещание по нуждам сельскохозяйственной промышленности, где тотчас и будет приступлено к рассмотрению тех вопросов, которые председатель этого совещания, т.е. Витте, признает нужным поставить в первую очередь. Такими вопросами Витте, конечно, признал бы относящиеся к крестьянскому укладу и кружным путем вернул бы себе доминирующую роль в разрешении столь живо его в то время интересовавшего крестьянского вопроса.

При этом Витте, учреждая упомянутые комитеты, в состав которых входили местные земские деятели, имел в виду одновременно привлечь к себе симпатии этих деятелей, причем, по-видимому, искренне думал, что эти местные люди откроют ему новые горизонты и поведают новое слово.

Дело в том, что Витте в то время находился под несомненным влиянием двух людей, а именно кн. Алексея Дмитриевича Оболенского, которого он ввиду этого хотел провести в председатели комитета по пересмотру узаконений о крестьянах, и орловского губернского предводителя дворянства М.А. Стаховича. Через этих двух лиц, близко знакомых с земскими кругами, Витте, вероятно, впервые ознакомился с деятельностью земских учреждений и, во всяком случае, впервые осознал тот ореол, которым земство было окружено в общественном мнении. Он понял, что записка его, составленная в 1899 г., в которой он высказывал убеждение, что земское самоуправление не совместимо с самодержавием, была ложным и нетактичным шагом и что иметь против себя все русское земство ему нет никакого расчета. Рассказы и суждения Стаховича и Оболенского о местных общественных деятелях и о том, насколько они превосходят знанием народной жизни и живым отношением к делу петербургское чиновничество, для Витте были откровением, и притом настолько, что он не только изменил свое отношение

к земству, но и их самих признал за людей исключительно прозорливых и умных.

Да, для Витте кн. Оболенский и Стахович были в течение нескольких лет нимфами Егериями (48) — истолкователями внутреннего строя русской жизни, обладателями дара распознавания смысла и сущности господствующих в стране общественных течений. Происходило это, разумеется, оттого, что сам Витте не был вовсе знаком с русской провинциальной жизнью и вообще с бытовыми условиями страны, что и не дало ему возможности в течение нескольких лет распознать, что ни Оболенский, ни Стахович не обладали государственным пониманием вещей, а были типичными представителями русских провинциальных мыслителей, обладающих лишь скудными положительными знаниями при определенно дилетантском отношении к самым сложным вопросам народной жизни.

Близость к Витте впоследствии выдвинула и кн. Оболенского, и Стаховича хотя в разных, соответственно их свойствам, направлениях, а потому, быть может, стоит на них несколько остановиться.

Кн. А.Д. Оболенский начал свою деятельность на общественном поприще, а именно на должности козельского, Калужской губернии, уездного предводителя дворянства. Обстоятельство это наложило на него и на всю его дальнейшую деятельность особый отпечаток. С одной стороны, оно развило в нем неограниченное самомнение: в тесных рамках глухого бедного уезда ему, богатому человеку, окончившему Училище правоведения, хотя лишь по третьему разряду и вообще по существу недоразвитому и недовоспитанному, легко было блистать во всех отношениях. С другой стороны, он вполне воспринял господствовавший в провинции, уже упоминавшийся мною, полупрезрительный, полунадменный взгляд на нашу бюрократию, в особенности на петербургское чиновничество. Местные люди слегка завидовали высшему чиновничеству: власть импонировала. Но все, что составляло рядовое чиновничество, смешивалось ими в одну общую кучу не то буквоедов-приказных, не то легкомысленных папильонов.

Вот с этим двойным убеждением появился кн. Оболенский в Петербурге в самом начале царствования Николая II. Совпадение едва ли случайное, а вероятно, обусловленное близостью его младшего брата, кн. Николая Дмитриевича Оболенского, к молодому государю, близостью, которой не преминула воспользоваться вся семья Оболенских, о которой в то время говорили, что она живет «котиковым промыслом»: кн. Николая Дмитриевича в семейном кругу называли «Котиком». Как бы то ни было, но кн. Алексей Дмитриевич в очень короткий срок сделал блестящую карьеру — назначенный первоначально Ермоловым инспектором сельского хозяйства — должность, существовавшая тогда в единственном числе на всю империю, — он через короткий промежуток времени назначается сначала товарищем

министра земледелия, а затем, при Горемыкине, товарищем министра внутренних дел. При этом рассказывали, что он попал таким путем в начальники директора хозяйственного департамента Кабата, не пожелавшего при прибытии Оболенского в Петербург предоставить ему должность начальника отделения этого департамента, чего первоначально, до назначения инспектором сельского хозяйства, добивался Оболенский.

Как бы то ни было, 1896 год застал Оболенского товарищем министра внутренних дел, где он и выявил себя вполне. По общему отзыву служащих министерства, претерпевших несчастье иметь с ним дело, кн. Оболенский сразу выказал прежде всего полное незнание с делом, с одной стороны, и крайне узкий уездно-провинциальный умственный, доходящий до наивности горизонт — с другой. «У нас в Козельском уезде это решалось так...» — была его любимая и постоянная фраза. Далее проявил он и впитанное им в местной среде презрительное отношение и к работе, и к самой личности своих многочисленных докладчиков — не в смысле высокомерия — этим свойством кн. Оболенский не отличался, напротив, он держался каким-то буршем, причем, однако, в самой простоте его обращения сквозил какой-то особенный снобизм. Проистекал его взгляд на своих ведомственных сослуживцев из искреннего убеждения, что он живой человек, схватывающий суть вещей, а они мертвые люди, видящие и знающие лишь внешнюю их форму. Словом, выражаясь словами Пушкина, «почитал он всех нулями, а единицею себя». Естественно поэтому, что он считал долгом не соглашаться с большинством бумаг, которые ему представляли на подпись, и требовал их изменения. Но в чем, собственно, эти изменения должны были состоять, он сколько-нибудь ясно и определенно высказать не был в состоянии, так что исполнить его желание не было никакой возможности. В результате бумаги переписывались по несколько раз, чтобы затем быть им подписанными в большинстве случаев в их первоначальной редакции. Действительно, основным свойством кн. Оболенского был чрезвычайно путаный, склонный к парадоксальности ум. На редкость некоординированное и притом совершенно не способное к какому-либо творчеству мышление его было, кроме того, запутано склонностью к мистицизму. Мистику эту, очевидно составлявшую часть его природы, кн. Оболенский пытался обосновывать на quasi учёной почве, а именно на творениях Вл. Соловьева, которого он, вследствие этого, сделался горячим поклонником и даже основал кружок имени Соловьева, занимавшийся изучением его произведений. При всем этом нельзя сказать, что кн. Оболенский был глупым человеком; если ограничить знакомство с ним простой беседой, то легко можно было признать его и за определенно умного человека, так как высказываемые им мысли могли легко показаться оригинальными, хотя в существе своем были лишь парадоксальными. В особенности было ему любо то, что Тургенев в «Записках лишнего человека» называл противоположными общими местами. Свойство это с годами у Оболенского выступало все ярче. Так, во время великой войны он все время упорно стоял

на стороне Германии и определенно радовался всякому успеху наших врагов, в особенности же — всякой неудаче англичан, которых специально не любил. Еще удивительнее были суждения, которые он высказывал после заключения большевиками Брест-Литовского мира, условия которого он открыто признавал вполне правильными и отвечающими интересам цивилизации и человечества*.

Вот этот-то человек, сблизившись с Витте, имел на него в течение известного периода весьма определенное и значительное влияние. Лишь увидев его на конкретном деле, а именно на должности обер-прокурора Синода, которую он занимал в его кабинете, убедился наконец Витте, насколько Оболенский был вздорный, решительно во всех отношениях Дилетант, что Витте определенно и высказал в своих воспоминаниях. Но это было значительно позднее, а в 1902—1905 гг., именно начиная со времени наступления борьбы между Плеве и Витте, последний почитал Оболенского почти за оракула.

Проявленное Оболенским при владычестве большевиков позорное подлаживание к ним я объясняю болезненным состоянием и упадком воли. Что же касается второго лица, возымевшего к тому времени влияние на Витте, М.А. Стаховича, то он, несомненно, обладал многими привлекательными свойствами. Талантливый, литературно весьма образованный, М.А. Стахович отличался необыкновенным умением завязывать связи и вступать в близкие дружеские отношения с лицами самых различных взглядов и общественных положений. Он был своим человеком и в высшем петербургском обществе, и в мире художников и артистов, и, само собой разумеется, в земской среде. С гр. Толстым он ходил на богомолье, а с художественной богемой проводил бессонные ночи, осушая не одну бутылку вина. Помогали ему при этом и его чрезвычайная общительность, и некоторые салонные таланты — он был прекрасный чтец, и готовность оказать услугу и даже серьезную помощь, причем все это было сдобрено какой-то своеобразной бесцеремонностью, не лишенной нахальства. Приятный собеседник, веселый собутыльник, неоценимый корреспондент, он поддерживал корреспонденцию с сотнями лиц — Стахович умудрялся быть в течение многих трехлетий орловским губернским предводителем дворянства, хотя по исповедуемым им политическим взглядам он был значительно левее преобладающего большинства орловского дворянства. Чрезвычайно характерно для Стаховича и то, что он был избран членом Первой Государственной думы, хотя по составу избирателей этой Думы одно то обстоятельство, что он состоял губернским предводителем дворянства, казалось, совершенно лишало его возможности пройти на этих выборах.

В дальнейшей своей политической карьере Стахович выказал то же необыкновенное умение сидеть зараз на нескольких стульях. Так, в день открытия Первой Государственной думы он явился в Зимний дворец на прием государем членов законодательных палат в придворном камергерском

мундире и тем составил яркую противоположность с, в общем-то, серой, как бы нарочито неряшливо одетой толпой членов нижней палаты. Одновременно в Первой Государственной думе он сумел войти в дружеские отношения с лидерами преобладавшей там кадетской партии, не вступая, однако, официально в ее ряды. Эти отношения он сумел сохранить до самого конца старого режима. Так, будучи впоследствии членом Государственного совета по избранию орловского земства, он был в лучших отношениях с левым крылом Совета — академической группой, причем, однако, официально в ней не числился. Любопытно и характерно для Стаховича и то, что, обладая несомненным ораторским талантом, он тем не менее более чем редко высказывался по какому-либо вопросу с трибуны.

Само собой разумеется, что Стахович разделял мнение кн. Оболенского по вопросу о том, что все живое и дельное в России сосредоточено в земских учреждениях, правительственный же аппарат состоит из бюрократов, мертвящих всякое дело, которым ведает или к которому прикоснется. Разница между Стаховичем и Оболенским состояла в том, что Оболенский, клеймя и презирая русскую бюрократию, всемерно, однако, стремился войти в ее состав и занимать в ней высшие должности. Стахович этого вовсе не добивался. Так, когда он явился главным посредником между Витте и теми общественными деятелями, которых последний хотел в 1905 г. включить в свой кабинет, сам он определенно и с места заявил, что никакого министерского портфеля принимать не желает. Объяснялось такое отсутствие честолюбия у Стаховича его преобладающим свойством, а именно нежеланием в чем-либо себя стеснять, а тем более чем-либо серьезно заняться. Природная лень еще в Училище правоведения привела к тому, что, несмотря на свои природные способности, он кончил его последним из всего курса; желание невозбранно пользоваться всеми прелестями свободной холостой жизни богатого человека никогда не покидало Стаховича. Честолюбие у него, несомненно, было, но преобладала над ним распущенность богемы, а посему он ограничивался стремлением к занятию таких положений, которые при внешнем почете ни в чем бы не стесняли его в удовлетворении своих, несколько цыганских, наклонностей и в пользовании всеми благами жизни.

Правда, впоследствии, после революции, он принял назначение на должность финляндского генерал-губернатора, но это объясняется, вероятно, тем, что он отнюдь не имел в виду управлять Финляндией, а лишь явиться живой связью между империей и Великим княжеством, предоставив управление этим краем в полной мере местным деятелям.

Он, как большинство самого Временного правительства, полагал, что достаточно для сохранения связи Финляндии с Россией проявить широкую благожелательность по отношению к местным общественным силам. Дилетантизм, которым отличался почти весь состав Временного

правительства, был основной чертой Стаховича, лишенного к тому же государственного понимания и даже смысла. Это отсутствие государственности, которым отличались многие представители нашей либеральной земщины, было типичной особенностью обоих вдохновителей Витте в эпоху его борьбы с Плеве и далее, вплоть до его пребывания в течение нескольких месяцев Русским премьером, но из двух кн. Оболенский был, несомненно, легкомысленнее и самонадеяннее Стаховича. Типичные продукты эпохи, они олицетворяли в его двух разновидностях мягкотелый русский земский либерализм, сплетенный из отсутствия глубоких познаний, поверхностного Ума и туманных чаяний космополитического уклона. Сколько-нибудь определенной политической программы по самым основным вопросам народной жизни у них не было, да и не были они в состоянии ее выработать, но дух критики в них был сильно развит, причем он нередко или, вернее, обыкновенно превращался в простой *persiflage* (53).

Возвращусь к борьбе Витте за сохранение за собой господствующей роли при разрешении крестьянского вопроса.

Отослав на разрешение местных комитетов программу, составленную в сельскохозяйственном совещании, он временно лишился возможности использовать это совещание для проведения своих взглядов. Между тем до сведения Витте доходило, что работы по пересмотру узаконений о крестьянах производятся в Министерстве внутренних дел с лихорадочной спешностью, и у него возникает опасение, как бы Плеве не опередил его в этом вопросе. Тогда он прибегает к новому средству, а именно — учреждает при Крестьянском поземельном банке межведомственное совещание по вопросу о той общей политике, которую должен проводить этот банк при продаже крестьянам как приобретаемых за счет особых ассигнуемых ему на это ежегодно сумм, так и передаваемых ему Дворянским банком оставшихся у него на руках земельных имуществ. Председателем этого совещания он назначил того же кн. А.Д. Оболенского, полагая, что он сумеет провести там свои общие взгляды по крестьянскому вопросу. Расчет был, на первый взгляд, правильным. Установить политику Крестьянского банка без предварительного или, по крайней мере, попутного разрешения коренных основных вопросов крестьянского быта, очевидно, не было возможности. Между тем принятые в межведомственном совещании решения этого вопроса приобретали сразу значительно большее значение, нежели какие-то предположения, выработанные исключительно в недрах одного ведомства.

Плеве, разумеется, сразу понял, к чему клонится затея Витте. Возражать против образования упомянутого совещания, имеющего формально в виду лишь определение деятельности учреждения, подведомственного министру финансов, Плеве, однако, не имел возможности. Вынужденный ввиду этого ограничиться зорким наблюдением за деятельностью этого совещания, он назначил в него представителем Министерства внутренних дел состоявшего

при нем А.П. Струкова, бывшего екатеринославского губернского предводителя дворянства, известного своими весьма консервативными взглядами, начальника утвержденной по мысли Сипягина в составе министерства канцелярии по дворянским делам — Н.Л. Мордвинова (бывшего управляющего Ставропольской казенной палатой, которого Плеве почитал за знатока в крестьянском вопросе), директора департамента полиции Лопухина, пользовавшегося в то время исключительным доверием Плеве, и автора этих строк. При этом Плеве счел даже нужным собрать этих лиц у себя для совместного обсуждения той линии поведения, которой они должны держаться в этом совещании. Однако, так как никакой программы деятельности этого совещания не существовало, то ясно, что определить заранее, чего должны держаться представители Министерства внутренних дел, не было возможности, а потому все ограничилось указанием Плеве, чтобы выбранные им лица держали его в курсе занятий совещания и ни к каким принципиальным решениям не присоединялись без предварительного получения его на то согласия.

Со своей стороны и Витте мобилизовал на это совещание особенно ценимых им сотрудников, а именно директора департамента государственного казначейства И.П. Шилова, директора департамента окладных сборов Н.Н. Кутлера и правителя канцелярии министерства А.И. Путилова, бывшего, впрочем, вообще неизменным представителем Министерства финансов во всех межведомственных совещаниях. Эти три Аякса, из которых два первых были впоследствии и министрами: Шипов — финансов, а Кутлер — земледелия, в кабинете Витте выступали всегда общим дружным фронтом, хотя Шипов был сторонником общины, а Путилов — личного землевладения, и, разумеется, голосовали как один. Наибольшее участие в прениях принимал Кутлер, который, по-видимому, являлся наиболее точным выразителем взглядов самого Витте. Общий тон всех троих был неизменно либеральным, а в вопросах, касающихся крестьянства, они определенно отстаивали взгляды, господствовавшие в передовых земских кругах.

Опасения Плеве были, однако, совершенно напрасны, равно как и возлагаемые Витте на совещание надежды были тщетны. Под председательством кн. А.Д. Оболенского никакое совещание ни к каким сколько-нибудь конкретным решениям прийти вообще не могло.

На чем, собственно, сосредоточивались те горячие споры, которые происходили в совещании, я сейчас не припомню, знаю лишь, что вопроса о единоличном и общинном землепользовании не касались вовсе, причем вообще все суждения отличались необыкновенной расплывчатостью. Зависело это главным образом от того, что у самого Оболенского никаких сколько-нибудь точных предположений и взглядов по крестьянскому вопросу не было. Он хотел что-то изменить, что-то исправить, по-видимому, насколько можно было понять из его туманных речей, стоял за

распространение на крестьян общих гражданских законов, но так как вопросы эти на совещании поставлены не были, то прямо этого и не высказывал. Определеннее был Кутлер. Стрелы свои он направлял преимущественно против правительственной опеки над крестьянами, и в частности против деятельности земских начальников. Речь Кутлера была всегда логичная и как будто Убежденная. По крайней мере, всегда говорил он тоном хотя неизменно спокойным, но твердым и проявлял наименьшую уступчивость. В общем, повторяю, совещание кн. Оболенского представляло какую-то странную мешанину самых разнообразных вопросов, нередко подвергавшихся одновременному обсуждению, по которым, однако, не только не приходили к какому-либо определенному решению, но и разрешать которые вообще не предполагалось. Приглашались в это совещание различные специалисты. Так, участвовал в нескольких заседаниях Лохтин, автор весьма известных исследований в области сельского хозяйства, причем, однако, его книга была гораздо толковее и умнее, нежели произнесенные им в совещании пространные речи. Проник в это совещание и небезызвестный в то время Н.А. Павлов, носивший прозвище «Дворянин», так как он сопровождал свою подпись на печатаемых им журнальных статьях этим званием. Весьма неглупый, а в особенности талантливый, Павлов не был серьезным мыслителем, но зато, несомненно, обладал свойствами художника и писателя. Написанная им книга, заглавие которой не припомню, рисующая наш сельский быт и условия, в которых находилось наше сельское хозяйство, изобиловала картинками сельской жизни, изображенными с художественной правдой. Однако дальше изображения более или менее внешней стороны русской действительности он не пошел, что все же не мешало ему сочинять различные проекты, столь же необъятные по замыслу, сколь мало соображенные в порядке их реального осуществления. Отличительным свойством Н.А. Павлова было необузданное честолюбие и страсть красоваться в любом виде на жизненной, преимущественно политической, сцене. Если не непосредственно за славой, то за известностью, хотя бы несколько скандального характера, он гонялся всеми средствами, чем, между прочим, и объяснялось его крикливое присоединение к своей подписи звания дворянина. Не обладая ни терпением, ни усидчивостью, он хотел вырвать у жизни все сразу и потому стремился сделать служебную карьеру не обыкновенным путем посредством более или менее медленного восхождения по иерархической лестнице, а одним скачком. Состоял он чиновником по особым поручениям при министре внутренних дел, но без содержания, а потому фактически никаким делом занят не был, выступать же предпочитал, где только мог, под флагом общественного деятеля и публициста. При этом составленными им довольно пространными записками по различным вопросам он забрасывал всех министров и вообще влиятельных лиц. Занятию этому преданся он с особым рвением, когда Манифестом 18 февраля 1905 г. было предоставлено всем обывателям так называемое право подачи петиций непосредственно государю. Канцелярия Комитета министров, куда поступали эти петиции, была вообще ими

завалена, но среди подававших их не было ни одного, который бы представлял такое количество отдельных записок, касающихся самых разнообразных вопросов, как Павлов. Мотив был, очевидно, все тот же — сразу, на гребне составленного им проекта, достигнуть до «степеней известных». В то время, насколько помнится, он интересовался преимущественно вопросом переселения крестьян на восток, причем предлагал некоторые, не лишённые живой оригинальной мысли планы устройства переселенцев на новых местах. Именно благодаря записке, касающейся этого вопроса, проник он в совещание кн. Оболенского, но здесь, когда вопрос пошел о способах реального осуществления его сырых и притом довольно хаотически изложенных мыслей, не сумел ни защитить их, ни, тем более, развить. Попытка его присоединиться через Плеве к работе по пересмотру узаконений о крестьянах тоже не увенчалась успехом, хотя он и был в числе тех лиц, на которых Плеве мне указал как на возможных сотрудников в этом деле. Познакомившись с его записками и поговорив с ним лично, я пришел к убеждению, что он принадлежит к числу тех широких фантазеров, участие которых в каком-либо определенном практическом деле лишь сбивает эту работу с правильных рельсов и в конце концов задерживает ее исполнение, но ничего серьезного в нее не вносит, и потому от его сотрудничества я отказался. Павлов не преминул приписать это моей боязни его талантов и знаний и даже произвел меня в своего личного врага. Этой чести я ему, однако, никогда не оказывал, а просто почитал его за интересного собеседника, но за рабочую силу признать не мог.

Как бы то ни было, совещание, учрежденное Витте под председательством Оболенского, ни к чему определенному не пришло за полной невозможностью согласовать тот хаос разнообразных мыслей и предположений, которые были в нем высказаны, в сколько-нибудь приемлемые для членов совещания заключения. Представители Министерства внутренних дел за исключением меня перестали его посещать. Лопухин, насколько помнится, участвовал лишь в первом заседании, а Струков и Мордвинов если иногда и присутствовали, то лишь в качестве молчаливых свидетелей происходящего. Фактически, таким образом, в прениях участвовали Кутлер со стороны Министерства финансов и я со стороны Министерства внутренних Дел. Можно, однако, спросить, почему я, в общем разделявший взгляды, проводимые не столько Оболенским (за невозможностью выяснить, в чем они, собственно, состояли), а Кутлером, тем не менее вел с ним по их поводу оживленную словесную перестрелку? Причин было несколько, причем не скрою, что едва ли не основной было нежелание выпустить из своих рук дело, которому я посвятил уже много труда и которое надеялся лично довести до благополучного конца. Словом, нет сомнения, что тут было затронуты и ведомственное, и личное самолюбие. Оправдывал же я Мысленно свой образ действий тем, что вообще считал невозможным осуществить какие-либо серьезные реформы в крестьянском деле путем, избранным Министерством финансов. Мне казалось, что

крестьянский вопрос мог быть разрешен только при общей широкой его постановке, а не путем отдельных мероприятий, принимаемых в порядке управления. Между тем фактически именно лишь к этому в лучшем случае могли свестись заключения совещания кн. Оболенского. К тому же, повторяю, я не верил, что кн. Оболенский мог вообще довести какое-либо дело до реальных результатов. В его руках оно неминуемо должно было кончиться en queue de poisson⁵⁶. Последнее и произошло, так как даже не удалось составить по нему журнала. Все попытки в этом направлении оказались совершенно тщетными. Журнал был, разумеется, составлен: чего только не были способны составить искусные перья петербургских чиновников, но собрать под ним подписи участников не удалось.

Припоминается, что еще в начале занятий этого совещания Плеве по поводу возбужденных в нем вопросов обратился к Витте с официальным письмом, в котором указывал, что некоторые из этих вопросов не могут быть решены до окончания порученного Министерству внутренних дел общего пересмотра крестьянского законодательства, а посему на участие в их рассмотрении вверенное ему министерство не может согласиться. Как бы то ни было, но намерение Витте овладеть крестьянским делом предположенным им путем не удалось, и дальнейших попыток он, в бытность министром финансов, уже не предпринимал.

Еще большую неудачу испытал Витте в другом вопросе, по которому велась борьба между ним и Плеве, а именно на подчинении фабричной инспекции министру внутренних дел. В этом вопросе Плеве действовал в согласии с Лопухиным, причем стремления их имели связь с зубатовской политикой.

На фабричную инспекцию департамент полиции косо смотрел едва ли не с самого момента ее учреждения. Он видел в ней организацию, недостаточно благонадежную по своему составу, и притом препятствующую работе охранной полиции.

Казалось бы, что зубатовская политика совпадала с этим направлением, но на деле разница была громадная. Фабричная инспекция наблюдала за исполнением работодателями закона о фабричном труде и отстаивала его обязательность. Зубатов хотел внедрить в сознание рабочих, что закон вообще не имеет значения, а существует правительственная власть, отечески заботящаяся о рабочих, и именно на нее надо возложить все надежды, независимо от того, предвидит ли то или иное положение либо обстоятельство закон или нет. При таких условиях конфликты между чинами охранной полиции и фабричной инспекцией были неизбежны, и ради их прекращения и стремился департамент полиции подчинить эту инспекцию административной власти. Наряду с этим было полное недоверие к личному составу фабричной инспекции, зараженной в массе интеллигентскими взглядами и недостаточно зорко наблюдавшей за пропагандой

революционных взглядов среди рабочей массы. Жандармское ведомство было в этом отношении вне подозрений. Таким образом, путем передачи в ведение Министерства внутренних дел фабричной инспекции достигалось, с одной стороны, изменение ее личного состава в сторону ее большей консервативности или, вернее, благонадежности с правительственной точки зрения, а с другой — возможность проведения через ее посредство зубатовской политики.

Правда, в полной мере Плеве в этом вопросе не осуществил своих предположений. Фабричная инспекция осталась в ведении Министерства финансов, но по последовавшему 30 мая 1903 г., на основании всеподданнейшего доклада министров финансов и внутренних дел, Высочайшему повелению все местные чины этой инспекции были подчинены руководству губернаторов в отношении применения закона и изданных в его развитие правил, инструкций и наказов относительно соблюдения на фабриках и заводах благоустройства и порядка. Мало того, само назначение фабричных инспекторов, распределение их по участкам и даже представление к наградам должно было впредь производиться по предварительному сношению с губернатором. Последнему было предоставлено, кроме того, право требовать от фабричных инспекторов представления очередных и срочных докладов, а в известных случаях отменять своей властью распоряжения чинов фабричной инспекции без передачи их на предварительное рассмотрение местных по фабричным и горнозаводским делам присутствий. При этом права окружных фабричных инспекторов были доведены до минимума, а именно ограничены правом ревизий дел, производимых чинами фабричной инспекции, и предварительной разработкой сведений по промышленной статистике.

Совокупность произошедших в положении фабричных инспекций изменений, несомненно, привела к фактической передаче этой инспекции в ведение Министерства внутренних дел и местной администрации и радикально изменила сам характер деятельности этого института. Цель создания этой инспекции состояла в учреждении посреднического органа между рабочими и работодателями и надзора за соблюдением законов, регулирующих фабричный труд в видах охраны жизни, здоровья и благосостояния трудящихся. С передачей в подчиненное положение администрации она превращалась из фабричной инспекции в фабричную полицию.

Признать, однако, что Плеве не имел никаких оснований стремиться к подчинению фабричной инспекции администрации, тоже нельзя. Дело в том, что рознь, существовавшая между ведомствами в их центральных учреждениях, отзывалась на деятельности местных, принадлежавших разным ведомствам учреждений и нередко приводила к полной несогласованности действий органов одной и той же, по существу, государственной власти.

Устранить эту несогласованность, иногда переходившую в открытый антагонизм между ними и иногда приводившую к печальным результатам, министр внутренних дел, ответственный за сохранение порядка и спокойствия в стране, не мог не желать. Беда была лишь в том, что такими частными мерами устранялся не первоисточник этой несогласованности, а лишь некоторая часть ее последствий, причем попутно, несомненно, извращался основной характер деятельности отдельных органов управления.

Как бы то ни было, но приведенная мера, состоявшаяся как будто по взаимному соглашению Плеве с Витте, была, разумеется, не чем иным, как решительной победой первого над вторым.

Действительно, не подлежит сомнению, что уже к началу 1903 г. Плеве упрочил свое положение у престола и настолько подорвал доверие к Витте, что удаление последнего являлось лишь вопросом времени. Витте это, конечно, чувствовал, но все же цеплялся за власть, хотя бы ценой таких уступок, к которым он до тех пор отнюдь не привык.

Внешним проявлением благоволения к Плеве и утверждения его программы государственной деятельности явился Высочайший Манифест 26 февраля 1903 г., первый в ряду государственных актов, последовательно в течение ближайших трех лет извещавших о предначертаниях, направленных к усовершенствованию государственного строя.

Нельзя сказать, чтобы начертанная в манифесте программа отличалась определенностью и конкретностью. Содержала она не столько сущность предположенных изменений в общем строе государственного управления, сколько их дух и политическое направление. Плеве спешил закрепить свои намерения хотя бы в самых общих чертах и даже ранее их более точного выяснения для самого себя государственным актом, исходящим с высоты престола.

Для ясности последующего считаю нужным привести здесь его резолютивную часть:

Высочайший Манифест 26 февраля 1903 г.

...Укрепить неуклонное соблюдение властями, с делами веры соприкасающимися, заветов веротерпимости, начертанных в основных законах империи Российской, которые, благоговейно почитая Православную Церковь первенствующей и господствующей, предоставляют всем подданным Нашим инословных и иноверных исповеданий свободное отправление их веры и богослужения по обрядам оной. Продолжать деятельное проведение в жизнь мероприятий, направленных к улучшению имущественного положения Православного сельского духовенства,

усугубляя плодотворное участие священнослужителей в духовной и общественной жизни их паствы.

В соответствии с предлежащими задачами по укреплению народного хозяйства, направить деятельность государственных кредитных установлений, особливо дворянского и крестьянского поземельного банков, к вящему укреплению и развитию благосостояния основных устоев русской сельской жизни: помещного дворянства и крестьянства.

Предначертанные Нами труды по пересмотру законодательства о сельском состоянии, по их первоначальному выполнению в указанном Нами порядке, передать на места для дальнейшей их разработки и согласования с местными особенностями в губернских совещаниях при ближайшем участии достойнейших деятелей, доверием общественным облеченных. В основу сих трудов положить неприкосновенность общинного строя крестьянского землевладения, изыскивая одновременно способы к облегчению отдельным крестьянам выхода из общины.

Принять безотлагательно меры к отмене стеснительной для крестьян круговой поруки.

Преобразовать губернское и уездное управление для усиления способов непосредственного удовлетворения многообразных нужд земской жизни трудами местных людей, руководимых сильной и закономерной властью, перед Нами строго ответственной.

Поставить задачею дальнейшего упорядочения местного быта сближение общественного управления с деятельностью приходских попечительств при Православных Церквах там, где это представляется возможным.

Призывая всех наших верноподданных содействовать Нам к утверждению в семье, школе и общественной жизни нравственных начал, при которых, под сенью Самодержавной Власти, только и могут развиваться народное благосостояние и уверенность каждого в прочности его права, Мы повелеваем нашим Министрам и Главноуправляющим отдельными частями, к ведомству коих сие относится, представить Нам соображения о порядке исполнения предначертаний наших.

Невзирая на всю его неопределенность, манифест этот все же заключал ответ на несколько злободневных, волновавших общественность вопросов. Он, во-первых, отвергал мысль об учреждении мелкой земской единицы на тех началах, которые признавались желательными передовыми земскими кругами, и взамен этого предлагал «сближение общественного управления с деятельностью приходских попечительств при православных церквах». В чем именно это сближение должно было состоять, я никогда уразуметь не мог, и никто объяснить этого мне был не в состоянии. Правда, мысль о построении

земской жизни на церковноприходской территориальной единице в то время усиленно проповедовалась правой прессой — «Московскими ведомостями», «Гражданином», отчасти и «Новым временем», но сколько-нибудь определенного способа построения этой единицы и связи ее с земскими учреждениями мне не приходилось встречать. В общем, это была одна из туманностей славянофильского мирозерцания.

Затем в манифесте имелось прямое указание на намерение правительства усилить влияние и власть местной администрации над выборными городским и земским учреждениями до такой степени, что именно это ставилось целью преобразования губернского и уездного управлений.

Наконец, по наиболее злободневному вопросу — крестьянскому — имелось указание на дальнейшее охранение земельной общины от насильственной ломки при облегчении отдельным крестьянам выхода из нее. Одновременно предписывалось «принять безотлагательные меры к отмене стеснительной для крестьян круговой поруки». Эту единственную вполне конкретную меру, которую предуказывал манифест, легко было включить в него в императивной форме, так как ко времени его издания законопроект по этому предмету был не только внесен в Государственный совет, но в соответственном его департаменте уже рассмотрен и одобрен, так что оставалось для издания соответствующего закона лишь по существу формальное заслушание его общим собранием Государственного совета и утверждение его Высочайшей властью, что и последовало в ближайшие после издания манифеста дни, а именно 12 марта 1903 г.

Имелась, однако, в манифесте и одна, по тогдашнему времени, существенная новелла, а именно привлечение к предварительному рассмотрению нового законодательства о сельском состоянии местных губернских совещаний «при ближайшем участии достойнейших деятелей, доверием общественным облеченных».

По этому поводу, быть может, небезынтересно рассказать здесь, как именно составлен был приведенный манифест.

Произошло это так. 25 февраля Плеве, вернувшись от государя, у которого он был с очередным докладом, вызвал меня по телефону и объяснил мне, что государю угодно завтра же, 26 февраля, в памятный день рождения императора Александра III, издать манифест, в коем были бы изложены основные черты будущей правительственной деятельности, как то: поддержка помещного дворянства и крестьянства, а также православного духовенства, устройство земской жизни на основе приходского попечительства с вящим подчинением деятельности существующих земских учреждений административной власти. Кроме того, манифест должен оповестить страну, что разрабатываемые законы о сельском состоянии

должны оставить общинный строй неприкосновенным, причем они, проекты этих законов, будут переданы на рассмотрение местных совещаний с участием в них представителей от дворянства и земства. При этом Плеве мне объяснил, что вступительную лирическую часть манифеста он поручил составить начальнику своей канцелярии Д.Н. Любимову, меня же просит изложить в весьма кратких положениях сущность высказанного им. Согласование обеих частей манифеста и его окончательная редакция должны быть произведены сегодня же вечером, так как он должен представить манифест к подписи в тот же день не позднее 12 часов ночи.

Я, разумеется, тотчас приступил к исполнению этого поручения, причем, признаюсь, был в большом смущении независимо от того, что я никогда манифестов не составлял и с этим родом литературы был совершенно незнаком. Данные мне указания были настолько общи, что изложить их для меня представлялось весьма затруднительным. Кроме того, всецело занятый крестьянским вопросом и делами, сосредоточенными в земском отделе, я не был вполне в курсе предположений Плеве в области вопросов общего управления. Правда, некоторые слова Плеве были для меня, при всей их неопределенности, вполне понятны. Так, например, указание на направление деятельности государственных кредитных учреждений — особенно Крестьянского и Дворянского банков — к укреплению крестьянства и дворянства должно было заключать намек на изменение нашей финансово-экономической политики, т.е. политики Витте, направленной преимущественно к развитию промышленности в сторону одновременной поддержки сельского хозяйства, и даже допустить возможность передачи этих учреждений в ведение Министерства внутренних дел. Должен, однако, сказать, что меня лично по существу интересовали лишь два вопроса, касающиеся проектов новых законоположений о крестьянах. Мне представлялось прежде всего важным так изменить абзац о будущем земельной общины, чтобы он не препятствовал принятию решительных мер в сторону добровольного, по желанию самих членов общины, распада ее. Во-вторых, мне хотелось по возможности расположить общественное мнение к работам, производившимся по пересмотру крестьянских законоположений, если не по существу, то хотя бы в отношении порядка их предполагаемого осуществления. Долго ломал я себе голову на том, как этого Достигнуть, и наконец остановился на фразе «при ближайшем участии Деятелей, доверием общественным облеченных». В сущности, это было лишь повторением фразы, заключавшейся в проекте именного указа Государственному совету по поводу столетия его учреждения. Проект этот, как я уже упоминал, заключал фразу, что Государственный совет состоит из лиц, «доверием Нашим и общим облеченных», причем государь слово «общим» в проекте собственноручно зачеркнул.

Как бы то ни было, часам к 8 вечера проект мною был составлен, и я явился с ним к Плеве, где застал пришедших ранее меня Д.Н. Любимова и А.А.

Лопухина. Тотчас приступили к чтению проекта начала манифеста, составленного Д.Н. Любимовым, причем довольно долго над ним провозились. Так что, когда приступили к существу манифеста, времени оставалось уже немного. Вследствие этого рассмотрение его прошло довольно гладко и быстро. Впрочем, А.А. Лопухин деятельного участия в обсуждении не принимал и на обращение к нему Плеве отвечал односложно, что же касается Любимова, то ему по существу было, вероятно, решительно безразлично, что будет заключать манифест, быть может вследствие того, что он, не без основания, не придавал ему серьезного значения. Никаких существенных возражений Плеве тоже не предъявлял — все сводилось к редакции или, вернее, к стилю. Вопрос об общине не вызвал никаких замечаний. Иное произошло, когда дошло до фразы «деятелей, доверием общественным облеченных». Здесь мне пришлось усиленно защищать эту фразу, за которую высказались и Лопухин, и Любимов. Однако Плеве долго колебался. Наконец найден был компромисс: к слову «деятелей» был прибавлен эпитет «достоинейших», что как бы несколько смягчало значение всей фразы. Проект тотчас был передан для переписки на соответствующей бумаге. Плеве пошел переодеться в вицмундир и около 12 часов вышел на лестницу, чтобы ехать к государю. Мы трое вышли его провожать. Как сейчас, вижу фигуру Плеве, спускающегося по лестнице к выходной двери в шубе с портфелем в руках. На нижней ступени он остановился, обернулся к нам трем, вышедшим его провожать, и сказал: «Так как же — оставить «доверием общественным облеченных»?» Я, разумеется, поспешил еще раз горячо высказаться за эту фразу, и Плеве решительно повернулся и вышел. Мы трое остались ждать его возвращения. Не прошло и часа времени, как Плеве вернулся с манифестом, уже подписанным государем, и тотчас передал его Любимову для напечатания в «Правительственном вестнике».

Манифест этот, разумеется, подвергся обсуждению прессы, причем, по обычаю того времени, за отсутствием возможности подвергнуть его критике, каждый орган печати стремился истолковать его в желательном для себя смысле, тем самым осуждая всякое иное разрешение захваченных манифестом вопросов, кроме указанного данным органом печати.

Впрочем, надо признать, что к тому времени общественные круги, интересующиеся вопросами государственного строительства, уже перестали придавать серьезное значение заключавшимся в государственных актах предуказаниям, так как убедились, что предуказанное сегодня может не только не осуществиться, но даже, наоборот, обратиться на практике в нечто противоположное. Эта потеря веры в серьезность и незыблемость царской воли лишала опубликовываемые царские предуказания их морального значения, и притом не только в обывательской среде, но и у самих исполнителей этой воли. Для всех сколько-нибудь сознательных элементов было ясно, что царские решения приводились в исполнение, лишь поскольку оставались у власти лица, инспирировавшие эти решения. Ввиду этого в

бюрократических кругах интересовались не столько прямым содержанием манифестов, сколько могущими в них быть указаниями или, вернее, симптомами на степень фавора в данную минуту и, следовательно, прочности у власти того или иного министра. С этой точки зрения обсуждался в петербургском чиновничьем мире и Манифест 26 февраля 1903 г., причем видели в нем прямое указание на падение влияния Витте и на всесильность в данную минуту Плеве. К этому выводу приходили преимущественно на основании той фразы манифеста, в которой говорилось о направлении деятельности государственных кредитных установлений на помощь помещичьему дворянству и крестьянству, т.е. сельскому хозяйству. Так же истолковывал его и сам Витте, возмущенный тем, что манифест, составленный даже без его ведома, указывал на направление, которому должны следовать подведомственные ему как министру финансов учреждения, и, разумеется, решил вовсе с этим манифестом не считаться.

Да, на практике от Манифеста 26 февраля осталась всего лишь одна фраза — та самая, на которую лишь с трудом согласился Плеве, — «достоинейшие деятели, доверием общественным облеченные», так как эта фраза впоследствии стереотипно воспроизводилась в ряде других правительственных актов и волеизъявлений, исходящих от самого монарха.

Тем временем борьба между Витте и Плеве обнаруживалась все ярче и становилась все решительнее. Впрочем, не подлежит сомнению, что Плеве удалось довольно скоро вызвать у государя предубеждение к Витте. Последнему содействовало очень многое. Тут влияла, несомненно, и склонность государя увлекаться новыми лицами и даже новыми мыслями. Играл большую роль и тот гнет, который испытывал государь со стороны Витте, хотя с внешней, формальной стороны Витте облакал все свои доклады в крайне мягкие и даже подобострастные формы. Было, вероятно, и не вполне осознанное самим государем желание сменить всех министров начала своего царствования, когда, с одной стороны, поневоле вследствие еще недостаточного знакомства со сложными вопросами государственного управления, а с другой, вследствие природной мягкости характера и никогда им не побежденной застенчивости государь ограничивал свою роль Утверждением предположений своих докладчиков. До какой же степени государь в начале своего царствования стеснялся в изъятии своей воли даже в мелких вопросах, характерный образчик представляет случай, рассказанный И.Л. Горемыкиным. Произошел он в 1896 г., т.е. уже после двух лет царствования, а состоял в том, что однажды, по окончании Горемыкиным, бывшим в то время министром внутренних дел, очередного доклада, государь, выказывая несколько больше, нежели обыкновенно, стеснения, выдвинул один из ящиков своего письменного стола и, достав оттуда какую-то бумагу, сказал: «Меня просят за такого-то о назначении его вице-губернатором. Пожалуйста, Иван Логгинович, устройте его на эту должность». Лицо, о котором просил государь, по словам Горемыкина, не

имело ни малейших прав на такое назначение, что он, Горемыкин, и объяснил государю, добавив, что подобные, неоправдываемые назначения могут вызвать справедливое неудовольствие со стороны обойденных, и притом представить весьма нежелательный прецедент и опору для других лиц, которые не преминут им воспользоваться для предъявления подобных же необоснованных претензий. Государь на это не только ничего не возразил, а поспешил как-то смущенно сунуть вынутую им бумагу в ящик, из которого она была извлечена.

Однако с годами постоянное согласие с соображениями своих министров, несомненно, тяготило государя. Ему, естественно, хотелось проявить собственную инициативу как в малых, так и в больших вопросах, но изменить своего отношения к докладам и суждениям министров начала своего царствования, т.е. лицам, с коими сложился иной порядок, у государя не доставало решимости. Отсюда возникало желание сменить этих лиц на новых, с которыми государь думал, что ему легче будет с места установить иные отношения. Этим же надо объяснить и склонность государя самостоятельно, без ведома министров возлагать на отдельных лиц особые ответственные поручения. Это было опять-таки следствием желания проявить личную инициативу, беспрепятственно осуществить свою волю. Едва ли не первым проявлением этой склонности была вызвавшая в бюрократических кругах немалое смущение командировка государем, кажется в 1897 г., некоего Клопова в местности, постигнутые неурожаем, для доклада об истинном положении населения этих губерний. Откуда взялся и каким образом проник к государю этот Клопов, я не знаю. Известно мне лишь то, что государь не только лично дал необходимые на эту командировку средства, притом в весьма ограниченном размере, но, кроме того, снабдил собственноручной запиской, в силу которой все власти должны были исполнять предъявляемые им Клоповым требования. Первым действием Клопова было обращение с этой запиской в Министерство путей сообщения для предоставления ему особого вагона для разъездов в нем по всей России. Требование это было исполнено, и Клопов покатыл в предоставленном ему вагоне, причем первой его остановкой была либо Тула, либо Орел, точно не помню, где он не замедлил предъявить губернатору свою полномочную грамоту. Можно себе представить смущение местной власти, конечно не замедлившей донести об этом небывалом случае министру внутренних дел Горемыкину. Смущен, разумеется, был и последний, но, однако, не задумался тотчас представить государю бесцельность и совершенную невозможность командировок безответственных лиц, вооруженных такими, почти неограниченными, полномочиями. В результате Клопов был тотчас вызван обратно в Петербург, полномочие у него отобрано, и формально все дело тем и кончилось.

Не подлежит, однако, сомнению, что случай этот оставил тяжелый осадок в душе государя. Желание проявить инициативу, конечно, при этом не

ослабло, но выливалось оно уже в иные формы. Воля с годами не укреплялась, ее стало нередко заменять упрямство, отличавшееся от нее тем, что государь в душе был поколеблен в предпринятом им том или ином решении, но тем не менее на нем настаивал, полагая, что он таким путем исполняет свою волю и проявляет твердость характера. В последние годы царствования настаивание на решениях по вопросам, по существу ничтожным, и притом касающимся преимущественно отдельных лиц, приняло какой-то болезненный характер. Никакие убеждения в полном несоответствии предположенного государем решения с установленными по данному предмету правилами и даже законами не действовали. «Такова моя воля» — вот фраза, которая неоднократно срывалась с царских уст.

На каком именно вопросе удалось Плеве окончательно потопить в глазах государя Витте, я не знаю, но имею основание думать, что произошло это на почве того направления, которое приняли работы и суждения образованных Витте уездных сельскохозяйственных комитетов.

С точки зрения политической передача на рассмотрение нескольких сотен мелких местных учреждений вопросов, касающихся в существе своем самих основ государственного управления, так как именно к этому сводилась в конечном результате та безбрежная программа, которая им была преподана, была, несомненно, крупной политической ошибкой, совершенно к тому же не оправдываемой могущей произойти от этого пользой. Если действительно хотели услышать компетентный голос страны, то для этого нужно было [собрать] местных деятелей, тем или иным путем указанных населением или хотя бы некоторыми его слоями, в правительственный центр, причем ограничить их суждения хотя бы весьма широкими, но все же определенными рамками. Разумеется, это был бы шаг в сторону конституции, но, однако, не долженствовавший обязательно привести к ней. Подобное совещание было созвано при Александре III в самом начале его царствования, когда по инициативе гр. Н.П. Игнатьева в Петербурге было образовано так называемое совещание сведущих людей, причем число предложенных ему вопросов и сам калибр этих вопросов был довольно значителен.

Учреждать же в стране 482 мелких учредительных собрания, ибо по существу переданных на их обсуждение вопросов это были именно учредительные собрания, причем предоставить выбор личного состава этих собраний мелким провинциальным деятелям самого разнообразного по полученному образованию, присущему им кругозору и политическому направлению свойства, было просто фантастично. Какого-либо серьезного прока от подобных собраний, разумеется, быть не могло, ибо что могли высказать без малого пятьсот разъединенных, работающих в глуши, чрезвычайно разнообразных по их составу парламентов, кроме невероятной мешанины, где отдельные крупинки здравого смысла и действительного

знания народной жизни неминуемо должны были потонуть в общем безбрежном хаосе разнородных мнений и взглядов. Достаточно принять во внимание, что общее число лиц, участвовавших в «трудах» сельскохозяйственных комитетов, превысило одиннадцать тысяч, а труды комитетов по их напечатании составили свыше 28 000 страниц убористого шрифта, которых, разумеется, кроме составителей сводов этих заключений, образовавших 18 объемистых томов, никто никогда не читал, чтобы прийти к заключению, что единственным прямым последствием всего задуманного опроса явился весьма значительный, но совершенно бесплодный расход государственного казначейства.

Можно лишь удивляться, что такой несомненно умный человек, как Витте, мог при такой постановке дела придавать ему сколько-нибудь серьезное значение, а он ему, безусловно, такое значение придавал и искренне думал, что услышит нечто новое, ему неизвестное и существенное, — словом, какое-то «петушиное слово». Конечно, это было следствием его полного незнания с русской провинциальной жизнью и той веры, которую он возымел в признанных им за оракулов кн. Оболенского и Стаховича. Господствующее течение русской общественной мысли было, разумеется, вполне известно без этого фантастического опроса случайно собранных уездных глашатаев. Ничего нового опрос этот дать не мог, а фактически свелся лишь к тому, что в отдельных уездах, где случайно находились более или менее выдающиеся общественные деятели, к тому же решительно всем известные, уездные комитеты повторяли то, что различные органы столичной печати в том или ином направлении давно проповедовали и отстаивали.

Разнородность состава уездных комитетов была действительно чрезвычайная. В одних уездах предводители дворянства, председатели этих комитетов, ограничились тем их составом, который был предуган как обязательный самим положением о них, а именно председателем и членами местной уездной земской управы; в других они, пользуясь предоставленным им правом, вводили в их состав неограниченное число лиц, приглашая всех уездных гласных, а также некоторых служащих как правительственных, так и земских учреждений и, наконец, местных крестьян, выбранных для сего волостными сходами. Так, например, в Лохвицком уезде Полтавской губернии общее число членов комитета достигло 60, а в Арзамасском уезде одних крестьян насчитывалось 25. Наконец, в некоторых уездах председатели искусственно подбирали состав комитета, соответствующий их политическим взглядам, причем придерживались этого рода действий преимущественно представители двух крайних, справа и слева, течений. Само собой разумеется, что в зависимости от того или иного состава комитетов находился как круг вопросов, которого они касались, так и высказанные по ним суждения. Очевидно, что произведенный указанным путем опрос представлял в большинстве случаев такое же значение, как

опрос лиц, случайно прошедших в какой-либо данный день по Невскому или по Морской.

Но если прямых последствий от произведенной таким образом анкеты *De omni re scibili et quibusdam aliis* не могло быть никакой, то шумиха по ее поводу получилась чрезвычайная, а косвенные последствия — значительные. Органы печати, в зависимости от того политического направления, которое они представляли, выхватывали те постановления отдельных комитетов, которые отвечали их вождениям, и стремились, играя на них, доказать, что местные деятели исповедуют именно те взгляды, которые давно проповедают они. Так, левая пресса цитировала решения Темниковского уезда Тамбовской губернии, Суджанского — Курской, Рузского — Московской губерний, отличавшихся особой прогрессивностью, а правая, наоборот, опиралась в своих заключениях на суждения комитетов Чернского — Тульской губернии, Староконстантиновского — Полтавской и Дмитровского — Курской губерний. Сущность же высказанного первыми тремя из перечисленных уездов сводилась к тому, что, по их мнению, одной из главных причин, задерживающих развитие народной массы, является юридическая неполноправность крестьян. Следует, говорили они, уравнивать крестьян с лицами других сословий в правах личных и гражданских и подчинить их общей администрации и общим судебным установлениям. Наоборот, вторая группа упомянутых уездов утверждала, что необходимо усилить права властей по отношению к сельскому населению и принять решительные меры против развивающегося в деревне хулиганства. Но неужели надо было учреждать 500 комитетов и опросить 11 000 лиц для того, чтобы узнать, что оба мнения имеют своих приверженцев в уездной провинциальной среде и вообще среди русской общественности!

Примечательно при этом, что сами комитеты, председатели которых включили в их состав всех уездных земских гласных и еще множество других лиц, жаловались на то, что вопросы, предложенные на их обсуждение, не были переданы в уездные земские собрания, «являющиеся единственным компетентным уездным органом для разработки этих вопросов». Суджанский комитет, в состав которого вошли все уездные земские гласные, дошел даже до того, что по предложению председателя уездной земской управы кн. Петра Дмитриевича Долгорукова (впоследствии — товарищ председателя Первой Государственной думы) возбудил ходатайство о том, чтобы был запрошен отзыв уездного земского собрания по всем вопросам, подлежащим обсуждению комитета. Ходатайство это, по существу своему совершенно нелепое, так как оно сводилось не к расширению, а к сокращению круга тех самых лиц, которые его возбуждали, имело целью дискредитировать суждение тех уездных комитетов, которые не включили в свой состав всех земских гласных своего уезда.

Что же касается не только разнородных, но даже безбрежных вопросов, возбужденных отдельными сельскохозяйственными комитетами, то о них можно судить по тому, что, например, в Царицынском комитете приглашенный в его состав священник возбудил вопрос о подъеме самостоятельности духовенства и об освобождении белого духовенства от власти черного, монашеского духовенства — и вопрос этот в комитете подвергся обсуждению.

По мере того как выяснялся состав уездных комитетов и тот характер, который принимали их работы и суждения, Плеве, несомненно, доводил до сведения государя о той шумихе, которую местами они вызвали, а также о тех мерах, которые он считал нужным принять по отношению к членам некоторых комитетов, как то: членов Воронежского уездного комитета — Мартынова и Бунакова, высланных им из пределов губернии за сделанное ими заявление, что единственный способ двинуть страну по пути дальнейшего прогресса и экономического процветания — это ввести в ней конституционный образ правления. Докладывал Плеве, вероятно, и о том, что существующий строй в некоторых комитетах осуждается уже в самих тезисах, которые предлагаются отдельными членами на их обсуждение. Так, Суджанский комитет внес в свою программу обсуждение «общего правопорядка, ныне почти устраняющего общественные силы от деятельности, построенного на административно-бюрократическом полицейском основании и общем недоверии».

Естественно, что ответственность за все это возлагалась на Витте, как председателя сельскохозяйственного совещания, причем ответственность эта представлялась тем более тяжелой, что Витте, со своей стороны, всемерно старался защищать как деятельность сельскохозяйственных комитетов вообще, так, в частности, тех их членов, которые пострадали за произнесенные в них речи, хотя предоставленная комитетом широта суждений давала им на то право и даже подстрекала на них.

Я не смею, разумеется, это безусловно утверждать, но повторяю, что, по моему мнению, именно защита Витте сельскохозяйственных комитетов была той непосредственной причиной, которая вызвала отставление его от управления Министерством финансов. Во всяком случае, одно мне положительно известно, что уже весной 1903 года это увольнение было государем не только предрешено, но даже известно Плеве, причем предполагалось, что оно состоится осенью того же года. Однако на деле оно произошло несколько ранее, а именно в середине июля. Государь при этом высказал Плеве, что он пришел к этому решению во время молебна, отслуженного при спуске на воду в его присутствии одного из наших строившихся боевых судов. Государь передал это Плеве приблизительно в следующих словах: «Бог мне положил на душу, что не надо откладывать на другой день то, на что я вообще решился».

Решение это, по-видимому, не вполне обрадовало Плеве, так как он рассчитывал до осени достигнуть не только отставления Витте от должности министра финансов, но и назначения на эту должность лица, в содействии которого его общим предположениям он был бы уверен. Между тем выбор государя произошел без участия Плеве, а избранное лицо, управляющий Государственным банком Плеске, не принадлежало к числу тех лиц, которых Плеве желал бы видеть на этом посту.

Судьба, однако, в то время благоволила Плеве. Плеске почти тотчас после назначения тяжело заболел и в октябре скончался.

За время болезни Плеске, исход которой был наперед известен, Плеве успел провести одного из тех лиц, на которых он мысленно останавливался. Кандидатами его были: товарищ государственного контролера Д. А. Философов и государственный секретарь В.Н. Коковцов, причем он, однако, преимущественно склонялся к Коковцову, в особенности после того, что Философова стал выдвигать П.Л. Лобко, состоявший в то время государственным контролером.

Выбор государя остановился, как известно, на Коковцове, причем влияние Плеве достигло к этому времени своего апогея и получило ясное выражение.

Как сейчас вижу я выходящего из кабинета Плеве, в ту минуту, когда я входил в его приемную, В.Н. Коковцова в вицмундире при ленте, задумчиво и озабоченно опустившего голову и как-то мрачно со мною поздоровавшегося. Со своей стороны Плеве, провожавший Коковцова до приемной, увидя меня, остановился в дверях кабинета и даже ранее, чем со мною поздороваться, с исключительно довольным выражением лица спросил: «Вы знаете, кого вы сейчас встретили?» Удивленный этим вопросом, я даже сразу не знал, что на него ответить, так как думать, что я не знаю Коковцова, Плеве, конечно, не мог. «Нового министра финансов», — продолжал Плеве. Войдя затем в кабинет, Плеве с широкой, лишь редко появляющейся на его лице улыбкой сказал мне, что Коковцов приехал к нему прямо от государя, который, предложив ему должность министра финансов, прибавил: «Во внутренней политике прошу вас следовать указаниям министра внутренних дел».

Однако и при В.Н. Коковцове Плеве не удалось достигнуть преследуемой им цели. Против полной передачи фабричной инспекции министр финансов решительно восстал, и составленная по этому предмету Министерством внутренних дел записка, посланная на заключение заинтересованных ведомств, никогда не достигла своего назначения, т.е. Комитета министров, к компетенции которого этот вопрос, как касающийся порядка управления, относился. Обстоятельство это даже вызвало заметное охлаждение между

двумя министрами, причем примирение между ними произошло лишь накануне убийства Плеве.

Глава 5 Борьба Плеве с общественностью

Стремление Плеве опереться на дворянство и земство • Слова государя в Курске дворянству, земству и крестьянству • Политический салон К.Ф. Головина; его участники: Н.А. Хвостов, С. С. Бехтеев, А.А. Нарышкин, А.Д. Поленов, П.Х. Шванебах • Отношение дворянства к Плеве • Неутверждение Муханова черниговским губернским предводителем дворянства • Отношение земств к Плеве • Земские статистические работы • Придирчивость Плеве при отсутствии решимости • Ревизия Штюмером тверского земства • Комиссия по оскудению центра; записка земцев, участников комиссии • Дальнейшее обострение отношений между общественностью и Плеве • События, этому способствовавшие • Беспорядки в Златоусте • Еврейский погром в Кишиневе.

Если зима 1902—1903 гг. прошла в области внутренней политики под знаком борьбы Плеве с Витте, то зима с 1903 на 1904 г. протекла под знаком борьбы Плеве с нарастающим социально-революционным движением, с одной стороны, и с увеличивающейся оппозиционностью либеральной общественности, с другой. Характер этой последней борьбы принял к тому времени со стороны Плеве все более придирчивый, запальчивый характер, причем возбуждает он против себя почти все общественные круги, даже наиболее умеренные, наиболее преданные существующему строю. Получилось такое положение, что правительство повисло в воздухе, имея единственной опорой свой собственный административно-полицейский аппарат. Однако и этот аппарат более чем когда-либо превращался в опору механическую. Автоматически он продолжал действовать более или менее согласно с получаемыми им приказами и указаниями, но составляющие его отдельные лица далеко не в полном составе признают целесообразность исходящих свыше распоряжений и все менее разделяют проводимую центральной властью политику. В результате душа аппарата улетучивается, а действия его принимают характер формальный, лишенный внутренней силы.

Как это на первый взгляд ни странно, но одной из причин утраты Плеве почти всякой опоры в общественных кругах явилось увольнение Витте от должности министра финансов.

Дело в том, что, как я уже упоминал, Плеве при вступлении в управление Министерством внутренних дел рассчитывал опереться в смысле общественности на дворянские землевладельческие круги. На деятельности этих кругов он надеялся сохранить и утвердить внутреннюю прочность государства и одновременно, опираясь на них же и на их враждебное отношение к экономической политике Витте, думал свалить последнего. Как

я уже упомянул первоначально, Плеве в дворянско-землевладельческие круги включал и земских деятелей, причем пытался сговориться с наиболее видным из их умеренных лидеров — Д.Н. Шиповым. Встретив с этой стороны ясно выраженное нежелание пойти на соглашение с правительством, Плеве был, так сказать, вынужден изменить свою политику и ограничиться чисто дворянскими кругами определенно консервативной окраски.

Ясно выразилась основная политика Плеве в этом направлении в речах, произнесенных государем в сентябре 1902 г. в Курске, в окрестностях которого происходили в то время большие войсковые маневры. При приеме государем в Курске представителей дворянства, земства и волостных старшин Плеве присутствовал, стоя непосредственно за государем, как бы желая тем подчеркнуть, что руководитель внутренней политики государства, верный исполнитель царской воли, воспринимает к руководству, наравне с лицами, к которым обращены слова монарха, заключающиеся в 8 указаний. Слова же эти ранее их произнесения были тщательно обсуждены государем совместно с Плеве, причем в основу их положена та Редакция, которую предложил министр внутренних дел. Собравшемуся дворянству государь сказал: «Я знаю, что сельская жизнь требует особого попечения. Дворянское землевладение переживает тяжкое время, но есть неустройства и в крестьянском; для устранения последних по моему повелению соображаются в Министерстве внутренних дел необходимые меры. К участию в этих трудах будут призваны в свое время губернские комитеты с участием дворянства и земства. Что же касается помещичьего землевладения, которое составляет исконный оплот порядка и нравственной силы России, то его укрепление будет моею неустанной заботой». Слова эти настолько определены, что не требуют никаких комментариев: для землевладельцев они предвещали изменение экономической политики в сторону поддержания сельского хозяйства, до того совершенно заброшенного.

Не менее содержательны были царские слова, обращенные к председателям земских управ Курской губернии. Слова эти заключали следующую фразу: «Земское хозяйство — дело первейшей важности, и я надеюсь, что вы посвящаете ему все свои силы. Я рад буду оказать вам всякое попечение, заботясь в то же время об объединении деятельности всех властей на местах. Помните, что призвание ваше — местное устройство в области хозяйственных нужд. Успешно выполняя это призвание, вы можете быть уверены в сердечном моем к вам благоволении». В словах этих звучит уже другая нота: благоволение к земствам обуславливалось тем, что учреждения эти ограничат свою деятельность удовлетворением хозяйственных нужд населения, иначе говоря, не будут вдаваться в политику. Имеется при этом указание на заботы об объединении деятельности всех властей на местах, что должно было, по мысли Плеве, обозначить, что при предстоящей реформе губернского и уездного управлений земские учреждения будут теснее переплетены с местными административными органами власти.

Наконец, столь же знаменательны были слова государя, обращенные к собранным в Курск волостным старшинам и старостам нескольких губерний, причем слова эти должны были быть особенно приветствованы помещичьим дворянством. Государь сказал: «Весною в некоторых местностях Полтавской и Харьковской губерний крестьяне разграбили соседние экономии⁵⁸. Виновные понесут заслуженное ими наказание, а начальство сумеет, я уверен, не допустить на будущее время подобных беспорядков. Напоминаю вам слова моего батюшки, сказанные им в Москве волостным старшинам в дни священного венчания на царство: «Слушайте ваших предводителей дворянства и не верьте вздорным слухам». Помните, что богатеют не захватом чужого добра, а от честного труда, бережливости и жизни по заповедям Божиим. Передайте в точности все, что я вам сказал, вашим односельчанам, а также и то, что действительные их нужды я не оставлю своим попечением». Совокупность слов, сказанных государем в Курске, составляла целую программу, оглашение которой естественно связывали со вручением управления внутренней политикой Плеве. Дабы, однако, не было никакого сомнения, что именно эту политику он намерен деятельно проводить, Плеве пригласил к себе в Курске местных земских деятелей и в беседе с ними несколько развил мысли, заключавшиеся в словах, произнесенных государем, причем распространился о характере задуманной реформы местного управления и отводил при этом широкое поле для деятельности земских учреждений. Беседе этой он, очевидно, придавал большое, принципиальное значение, так как сущность сказанного им была передана представителям прессы, которая их тотчас и воспроизвела.

Словом, в начале своего управления министерством Плеве стремился заручиться поддержкой и симпатиями дворянских кругов и сохранить добрые отношения с земством. Усилия его в этом направлении первоначально не были бесплодны. Так, в самом Петербурге круг лиц, в общем не реакционного направления, не только приветствовал действия Плеве, но старался его поддержать, в особенности на почве его борьбы с Витте. Я имею в виду тех лиц, которые еженедельно собирались у К.Ф. Головина и образовали у него нечто вроде политического салона.

Салон этот среди немногих политических салонов, имевшихся в Петербурге на рубеже XIX и XX вв., по своей политической окраске занимал среднее положение.

Значительно правее его был салон кн. В.П. Мещерского, издателя «Гражданина»: в нем собирались петербургские сановники, а также некоторые общественные деятели определенно ретроградного направления, причем посещали его с особым усердием лица, стремившиеся через посредство кн. Мещерского добиться: одни — министерских портфелей, другие — видных назначений в провинцию. По городским слухам, некоторым из них в течение известного периода это удавалось.

Левее бывавших у К.Ф. Головина был кружок «Вестника Европы», собиравшийся преимущественно у К. К. Арсеньева⁶⁰. Это был салон, где встречались главным образом писатели, ученые и журналисты, но бывали там и приезжие земские деятели наиболее передовых взглядов. Господствующей нотой здесь был просвещенный либерализм, а пределом желаний — введение в России правового строя, иначе говоря, конституции, даже не парламентского типа.

Что же касается кружка лиц, собиравшихся у Головина, то это были преимущественно землевладельцы земской складки. Основным ядром этого салона были орловцы: Н.А. Хвостов, С.С. Бехтеев, А.А. Нарышкин и А-Д-Поленов⁶¹. Н.А. Хвостов занимал должность обер-прокурора 2-го (крестьянского) департамента Сената, но был типичным земцем первой формации, в течение долгого времени работавшим в орловском земстве и некогда, в 1882 г., приглашался Н.П. Игнатьевым в совещание сведущих людей. Народник типа 60-х годов, Н.А. Хвостов был ярким поклонником земельной общины и обособленного крестьянского управления и суда.

С.С. Бехтеев, бывший в течение многих лет председателем елецкой уездной земской управы, человек живого ума и не лишенный некоторых познаний в области экономических вопросов, составлял в то время исследование роста благосостояния страны, напечатанное под заглавием «Хозяйственные итоги истекшего сорокалетия»⁶². Труд этот, довольно растрепанного содержания, за отсутствием у автора знакомства с методами производства подобных исследований, содержал, однако, множество любопытных данных и немало живых мыслей. Первоначально столь же горячий поклонник общины, как Хвостов, он приблизительно к этому времени радикально изменил свой взгляд по этому предмету, превратившись в энергичного проповедника необходимости перехода крестьян к личному землевладению. Когда, уже после революционного движения 1905 г., Кривошеин, назначенный главноуправляющим землеустройства и земледелия, искал себе опоры, между прочим, в землевладельческих кругах, он провел С.С. Бехтеева в члены Государственного совета от короны, но там Бехтеев, подобно преобладающему большинству членов этой палаты, не имевших служебного бюрократического опыта, не играл сколько-нибудь видной роли.

А.А. Нарышкин, начавший свою деятельность тоже в орловском земстве, а затем последовательно занимавший должность подольского губернатора, товарища министра земледелия (при Ермолове), сенатора 1-го департамента и, наконец, члена Государственного совета по избранию дворянства, отличался исключительно высокими нравственными качествами и рыцарской честью. Органически не перенося никаких мер, направленных к стеснению человеческой деятельности, он, будучи ярким русским патриотом, тем не менее совершенно не разделял проводимой правительством политики по отношению к населяющим империю инородцам. В особенности порицал он

нашу политику по отношению к полякам, что отчасти исходило из прочно внедренных в него славянофильских устремлений. Свою преданность славянской идее он доказал на деле, поступив добровольцем в ряды сербских дружин во время их борьбы с турками в 1876 г. Будучи ранен, он получил за участие в этой борьбе солдатский Георгиевский крест — единственный орден, которым он гордился. Впоследствии Нарышкин был избран председателем Славянского благотворительного общества, организации, преследовавшей, как известно, не столько гуманитарные, сколько политические цели. Кристально чистый, весьма доброжелательный, он по всему складу своего ума и характера был и остался на всех занимаемых им должностях типичным русским земцем 70-х годов. Несколько и умственно, и физически ленивый, он был тем не менее и добросовестным работником, и серьезно образованным человеком. Славянофил чистой воды, он был убежденным сторонником триединой формулы — «самодержавие, православие, народность», влагая, однако, в эту формулу отнюдь не полицейское содержание. Для него самодержавие представлялось в виде таинственного общения между монархом и страной. «Народу — мысль, а власть — царю» — вот тот идеал, который предстал перед его мысленным взором, причем вплоть до революционного брожения 1905 г. он почитал самого себя либералом.

А.Д. Поленов — тоже орловец, был человеком неглупым, но тупым и смотрящим на мир Божий через рисующие его статистические цифры. Вследствие этого свойства, когда в кружке Головина в 1899 г. обсуждался вопрос, поднятый впервые товарищем министра финансов В.И. Ковалевским, о том, что окраины государства, в особенности западные, живут и процветают за счет центральной части империи, которая вследствие этого истощается и беднеет, Поленов изложил основные положения и выводы, к которым пришел этот кружок, в испещренной статистическими данными брошюре⁶⁴. Выпущенная на правах рукописи брошюра эта отличалась странным внешним видом: она представляла собой тощую тетрадь в темно-серой обложке с заглавием, напечатанным серебряными буквами, и носила громкое название «Исследование экономического положения центральных черноземных губерний». Заключавшиеся в ней цифровые данные были довольно разнообразны, но освещены они были весьма односторонне.

Nabent sua fata libelli. Брошюра Поленова имела два вполне реальных последствия. Во-первых, она составила карьеру ее автору, который вскоре после ее выпуска был назначен директором одного из департаментов Министерства земледелия, а затем товарищем министра того же ведомства. Оказалось, однако, что между составлением статистическо-экономической брошюры и заведованием обширной отраслью народного труда существует некоторая разница. Поленов в общем вполне подходил к «зеленому ведомству», как называли в то время, а именно при управлении им Ермоловым, Министерство земледелия как по цвету канта на мундире,

присвоенном этому ведомству, так, в особенности, по той зеленой скуке, которая в нем царила. Скуку эту Поленов не развеял, а тотчас по оставлении Ермоловым должности министра земледелия преемником последнего был куда-то спроважен. Вторым последствием появления брошюры Поленова было образование, однако лишь три года спустя, особого совещания, получившего в просторечии наименование комиссии по оскудению центра. Дело в том, что данные и выводы брошюры Поленова были подхвачены некоторыми органами прессы и произвели на общество некоторое впечатление. Витте, весьма чутко относившийся к общественному мнению и никогда не оставлявший без возражений всего, что представляло его деятельность в неблагоприятном свете, поручил департаменту окладных сборов всесторонне осветить возбужденный вопрос. В результате получились чрезвычайно обстоятельный и весьма ценный статистический сборник под заглавием «Движение благосостояния с 1861 по 1900 год средних черноземных губерний по сравнению с остальными»⁶⁶, а затем и упомянутая комиссия по оскудению центра.

Кроме перечисленных наиболее постоянных посетителей К.Ф. Головина собиралось у него и множество других лиц переменного состава, причем нередко можно было у него встретить гр. П.А. Гейдена, впоследствии видного участника земских съездов, а затем главу немногочисленной партии мирного обновления; А.В. Евреинова — предводителя Суджанского уезда Курской губернии, женатого на одной из представительниц известной своим просвещенным меценатством и либерализмом московской купеческой семьи Сабашниковых, проявившего в качестве председателя местного сельскохозяйственного комитета ярко оппозиционное направление; кн. Павла Дмитриевича Долгорукова, перекинувшегося позднее в партию конституционных демократов; А.Н. Брянчанинова, честолюбивого политикана, не сумевшего пристроиться ни к какому определенному политическому течению.

Из петербургских бюрократов частым посетителем Головина был П.Х. Шванебах, занимавший впоследствии в кабинете Горемыкина и Столыпина должность государственного контролера. Он был несомненный знаток экономических вопросов и вообще отличался большой начитанностью, которой любил щеголять. Шванебах был убежденным и жестоким противником экономической политики Витте, причем не останавливался перед резкой критикой этой политики, хотя сам состоял в то время членом совета министра финансов. Его два финансово-политических исследования, «Денежная реформа» и «Наше податное дело»⁶⁸, по ясности, сжатости и содержательности изложения, в особенности первое из них, несомненно, много способствовали уяснению интересующейся читающей публикой как светлых, так и темных сторон финансовой политики Витте. Кроме того, Шванебах специализировался на анализе ежегодной государственной сметы и сопровождавшего ее всеподданнейшего доклада министра финансов.

Доклад этот неизменно рисовал все финансовое и экономическое положение государства в нарочито розовом свете. Шванебах подвергал эти доклады всесторонней и жестокой критике, причем свои замечания и выводы, не имея возможности по условиям времени помешать в печати, докладывал в различных полупубличных и частных собраниях, как, например, на так называемых «экономических обедах» и в состоявшем под председательством гр. Игнатьева Обществе торговли и промышленности, где, однако, обсуждение доклада Шванебаха было прервано распоряжением властей.

Чрезвычайно своеобразный характер всему салону К.Ф. Головина придавал сам хозяин: слепой паралитик, не владевший ногами и лишь слабо владевший руками, он тем не менее умел объединять людей даже иногда довольно различных взглядов, умел заводить беседу и даже, до известной степени, направлять ее. Физически разбитый старик сохранял юношескую живость ума и горячий интерес к самым разнообразным вопросам общественной и государственной жизни. Обладал он при этом совершенно исключительной памятью и весьма тонким памятьливым слухом. По звуку шагов он узнавал всех входящих и любил их приветствовать, называя по имени и отчеству ранее, нежели они сами заговаривали. Голоса же всех своих многочисленных знакомых он запоминал по первому разу, причем умел их безошибочно отличать в общем перекрестном разговоре. Плодовитый романист, написавший не менее 15 томов различных беллетристических произведений, из которых некоторые не лишены таланта и тонкой наблюдательности, Головин был одновременно и литературным критиком, и весьма знающим экономистом, написавшим и в этой области несколько обширных исследований⁷⁰.

В салоне Головина находили отзывы все текущие события государственной и общественной жизни, но особенно частой темой беседе служили вопросы экономические. Последнее объяснялось и тем, что тогда вообще в государственном ареопаге первенствовала фигура Витте и возбуждали горячие споры принимавшиеся им решительные финансово-экономические мероприятия. Естественно, что собиравшиеся, как принадлежавшие преимущественно к землевладельческому слою, были противниками односторонней, направленной исключительно к развитию в стране промышленности, политики Витте. При этом, разумеется, пересаливали, с одной стороны, доказывая, что все осуществленные Витте реформы губительны для страны, а с другой, утверждая, что он ведет страну к определенному финансовому краху. Так, например, припоминаю, как однажды Н.А. Хомяков (впоследствии — председатель Третьей Государственной Думы), бывший до того директором одного из департаментов Министерства земледелия, ничтоже сумняся утверждал, что введение у нас золотой валюты — еврейская затея!

Состоявшееся весной 1902 г. назначение Плеве было приветствовано собиравшимися у Головина как симптом предстоящего падения Витте. В связи с учреждением сельскохозяйственных совещаний, от которого, так как оно было передано в руки Витте, не ожидали в этом кругу никаких полезных результатов, собиравшимися у Головина был выделен небольшой круг лиц, задавшихся целью составить краткую записку, посвященную разбору всей нашей экономической политики и содержащую, изложение своих desiderata⁷¹ в этой области. Записка эта предназначалась специально для Плеве, своевременно была ему вручена и, вероятно, дала ему некоторый материал в его кампании против Витте. Во всяком случае, представлявших ему эту записку от имени составлявшего ее кружка Плеве встретил чрезвычайно любезно и вел с ними продолжительную беседу.

Из сказанного видно, что главная причина поддержки Плеве дворянско-землевладельческими кругами происходила от их нелюбви к Витте и надежды, что первый свалит второго. Когда же эта цель была достигнута, у землевладельческого дворянства не было больше оснований поддерживать министра внутренних дел. Впрочем, существенно этому содействовала одна частная причина, а именно неутверждение Высочайшей властью избранного черниговским Дворянским собранием губернским предводителем дворянства Муханова. Собрание это выбирало собственно не губернского предводителя, а двух кандидатов на эту должность, которые как бы представлялись на выбор престола. Однако не было случая, чтобы не утверждался тот из этих кандидатов, который получил большее число избирательных голосов. Фактически вследствие этого выбиралось одно лицо, после состоявшегося выбора которого убеждали какого-либо дворянина баллотироваться во вторые кандидаты, при этом заведомо наперед знавшего, что ему положат меньшее количество избирательных шаров, нежели его предшественнику по баллотировке. По отношению к черниговскому Дворянскому собранию крепко установившийся обычай был нарушен. Государь утвердил губернским предводителем второго кандидата, причем сделано это было вопреки мнению министра внутренних дел. Плеве дважды докладывал о том крайне тяжелом и нежелательном впечатлении, которое неминуемо произведет такое решение даже на самые умеренные дворянские круги, являющиеся единственной органической опорой правительственной власти. Однако коль скоро решение это состоялось, Плеве — безусловно, верный и преданный слуга государя — не задумался принять на себя весь одиум⁷² этой меры. На совет дать понять хотя бы черниговскому дворянству, что решение это принято не по его инициативе, Плеве решительно ответил: «Моя обязанность защищать государя, а не подвергать его нападкам общественности». За достоверность изложенного я ручаюсь, так как я присутствовал при этой беседе.

Вполне определившееся к тому времени стремление Плеве строго ограничить деятельность земств исключительно заботами о местных

хозяйственных нуждах, конечно, тоже содействовало непопулярности Плеве в дворянских кругах. Этими рамками дворяне-землевладельцы, они же — земские деятели, тем менее могли удовлетвориться, что лично они от каких-либо земских хозяйственных начинаний ничего не выгадывали.

Впрочем, отношения между земцами и Плеве были испорчены почти с самого начала его руководства внутренней политикой. Отнести это всецело к вине Плеве, однако, едва ли можно. Дело в том, что при производстве следствия по аграрным беспорядкам, происходившим в марте 1902 г. в Полтавской и Харьковской губерниях, выяснилось, что они были вызваны революционной пропагандой, в которой главное и деятельное участие принимали статистики полтавского губернского земства.

По этому поводу не могу не сказать несколько слов о производившихся земствами огромных статистических работах. Выяснением стоимости и доходности облагаемых земскими сборами недвижимых имуществ некоторые земства интересовались с давних пор, причем произведенные ими в этой области работы в отдельных губерниях, как, например, в Воронежской, несомненно дали ценный материал, хотя не столько в отношении стоимости облагаемых имуществ, сколько степени платежеспособности и степени благосостояния населения. Произведенное в этой губернии определение бюджетов крестьянских хозяйств, исполненное, если не ошибаюсь, известным земским статистиком Воробьевым", имело научное, а могло приобрести и практическое значение.

Ввиду того, что работы эти были связаны со значительным расходом, правительство признало нужным оказать в этом деле содействие земствам: по закону 18 января 1899 г. земствам выдавалось на этот предмет ежегодное денежное, довольно значительное, пособие. Пособие это после закона 12 июня 1900 г. о предельности земского обложения приобрело обязательный характер, так как установление твердого предела этого обложения было связано с завершением предпринятой земствами переоценки объектов обложения. Установлены были при этом и основные правила производства этих работ, распадающиеся на три последовательных этапа, а именно: 1) собрание и разработка оценочно-статистического материала, 2) установление общих оснований оценки, 3) применение оценочных норм к отдельным имуществам по трем их главным категориям, как то: земельным, городским и торгово-промышленным, включающим фабрики и заводы. Надо признать, что работы эти, коль скоро они были поставлены в Указанном широком масштабе, по существу получили значение общего сударственного и тем самым не только выходили из сферы интересов отдельных земств, но превышали их внутреннюю компетенцию, превышали те специальные познания по этому предмету, которыми обладали в большинстве губерний земские деятели.

В зависимости от последнего оценочные статистические работы получили в различных губерниях совершенно различный характер и направление, причем в действительности они совершенно ускользали из ведения не только губернских земских собраний, но и их исполнительных органов — губернских земских управ. Работы эти оказались, по существу, в полном и бесконтрольном ведении приглашенных управами заведующих оценочными их отделениями статистиков, из которых многие и сами не были на высоте возложенной на них задачи. Так, уже в 1902 г. выяснилось, что собранный в некоторых губерниях оценочный материал настолько неудовлетворителен, что земские учреждения вынуждены были его целиком забраковать и приступить заново к его составлению. Произошло это в Казанской, Черниговской и Тульской губерниях. В общем же выяснилось, что работы эти производятся крайне медленно, что из стадии собирания оценочного материала вышли лишь немногие губернские земства и что сам характер этих работ отличается по отдельным губерниям чрезвычайной пестротой. Одни земства ограничивались собиранием едва ли даже достаточного для преследуемой цели чисто формального материала, другие, наоборот, расширяли свои исследования до полной их безбрежности, производя не оценочно-статистическую работу, а сложное экономическое обследование, однако мало где покоящееся на научных методах.

Это была одна сторона вопроса, приводящая к тому, что до самой революции работы эти в большинстве земств были еще далеко не завершены, причем поглотили десятки миллионов рублей казенных, т.е. народных, средств.

Само собой разумеется, что собранный оценочный материал во многих губерниях при этом устарел и утратил практическое значение. Впрочем, можно сомневаться, что произведенная таким путем оценка недвижимых имуществ во всей земской России могла вообще иметь практическое значение как по малой компетентности большинства собирателей этого материала, исчислявшихся сотнями, так и по разнообразию применявшихся в отдельных губерниях и отдельными статистиками методов и оснований*74. Независимо от этого, какое вообще могла иметь серьезное экономическое значение даже вполне правильная оценка объектов обложения прямыми налогами в стране, где податная система была основана на косвенных налогах?

* Это не мешало, однако «Русским ведомостям» заявить: «Россия может, как известно, гордиться перед всем культурным миром своей земской статистикой». Как бы то ни было, это лишь одна сторона вопроса, сводившаяся в худшем случае к бесполезной ежегодной трате нескольких миллионов рублей. Иное значение представляла другая его сторона, а именно та легкость и та благодатная почва, которые представляло для революционных элементов вполне законное общение с сельским населением и совместное обсуждение с ним его экономического положения в отношении

распространения среди крестьян определенных социалистических взглядов. Наблюдение за деятельностью земских статистиков в этом отношении было почти невозможно как со стороны администрации, ввиду отсутствия полицейского надзора в сельских местностях, так и со стороны земства, имевшего поневоле дело с лицами, ему неизвестными: количество статистиков в некоторых губерниях было весьма значительно (в Полтавской губернии оно достигло в 1901 г. 594 человек), причем большинство составляло переменный состав, работавший в данном земстве лишь в течение летних месяцев одного года. Хладнокровно смотреть на систематическое революционизирование сельского населения армией земских статистиков правительство, конечно, не могло и не имело права. Убедившись из дознания о беспорядках в Полтавской губернии, что оно было вызвано революционной пропагандой, деятельное участие в которой принимали именно земские статистики, Плеве опубликованным во всеобщее сведение в июне 1902 г. всеподданнейшим докладом испросил Высочайшего соизволения на ограничение в текущем году земских статистических обследований в некоторых губерниях, с тем чтобы работы эти ограничились исключительно городскими местностями и городскими недвижимостями".

Невзирая на то что в упомянутом всеподданнейшем докладе были приведены изложенные выше факты и соображения, причем ни одного слова порицания деятельности самих земских учреждений доклад этот не содержал и даже упоминал о том, что в некоторых губерниях земские статистики вступали в пререкания с земскими управами и действовали вопреки их указаниям, все же проводимая им мера вызвала неудовольствие в земских кругах. Именно тут пробежала первая кошка между земством и Плеве. Пробежала эта кошка в особенности потому, что в означенном докладе упоминалось о намерении правительства передать все оценочное дело из земских учреждений в заведование администрации. Здесь сказалась одна из исключительных особенностей Плеве, а именно необыкновенное умение и склонность раздражать людей, ограничиваясь при этом лишь мелкими бесцельными уколами и стращанием. Сколько-нибудь решительных мер Плеве, в сущности, за все время своего управления министерством не принял ни в одной области, но число мелких, нанесенных им как отдельным лицам, так и крупным общественным и даже национальным объединениям обид и уколов весьма значительно. Действительно, не было той области, которой Плеве бы не коснулся и так или иначе не раздражил. В Финляндии все предположенные им грозные меры на деле свелись к нулю, доведя, однако, финляндскую общественность, отчасти именно вследствие их недейственности, до белого каления.

Характерный образчик такого образа действий представляют два государственных акта, последовавшие в один и тот же день — 18 декабря 1903 г., касающиеся уклонения населения Финляндии от явки к исполнению воинской повинности. В Высочайшем рескрипте от упомянутого числа на

имя финляндского генерал-губернатора, коим предписывалось принять некоторые весьма мягкие меры по отношению к уклонившимся, было сказано: «ограничиваясь в данном случае перечисленными мерами, поручаем вам предварить население края, что уклоняющиеся от призыва 1904 года будут подлежать впредь назначению в войска, вне Финляндии расположенные», а по всеподданнейшему, состоявшемуся в тот же день докладу представления императорского финляндского Сената последовало все милостивейшее соизволение государя императора прекратить дальнейшее довыскаание с общин новобранцев призыва 1902 г.

Угрозы, послабления и милости — все смешивалось воедино, вследствие чего угрозы не устрашали, а послабления и милости не вызывали благодарности. В армяно-григорианском вопросе Плеве ограничился такими мерами, которые не имели и не могли иметь влияния на сущность этого вопроса, а лишь напрасно озлобляли армян, их, однако, не обессиливая⁷⁶. В своих сношениях с русской общественностью и специально с земскими кругами он также свел свою борьбу к принятию репрессивных мер по отношению к отдельным лицам, притом не наиболее оппозиционным правительству, и на страдание, что вот не сегодня-завтра я вас всех в бараний рог согну и подчиню всецело администрации.

Все это приводило общественность в повышенно нервное состояние, но устрашающего впечатления на нее не производило. *Fortiter in re, suaviter in modo*⁷⁷ — основной принцип, долженствующий руководить всею государственной деятельностью, был абсолютно чужд Плеве. Чужд он был, увы, всей русской государственной власти в эпоху царствования Николая II.

Беспрерывно громы правительственные громы, но удары молний почти отсутствовали. Между тем был период, в течение которого Плеве пользовался полным доверием государя и мог провести любую меру в желаемом для него направлении, однако ни одной действительно серьезной меры не было им принято, притом не только в порядке творческом, но хотя бы в отношении сокращения прав и сферы деятельности тех общественных организаций, которые, по его мнению, оказывали вредное влияние на ход государственной жизни. Строились первоначально широкие планы, которые затем понемногу все сокращались, чтобы закончиться какой-либо совсем ничтожной мерой либо совершенно испариться; гора неизменно ограничивалась рождением мыши.

Финляндский вопрос и в этом отношении представляет любопытный образчик. Хотел первоначально Плеве совершенно выделить из Великого княжества так называемую Старую Финляндию, т.е. Выборгскую губернию, присоединенную к России еще при Петре Великом, включив ее в состав русских областей империи и подчинив всему существующему в них порядку и действующим в них законам. Намерение это, о котором финляндцы,

разумеется, осведомились, вызвало среди них величайшую тревогу, и негодование. Однако вскоре Плеве от этой мысли отказался, сведя свои предположения в этой области к присоединению к Петербургской губернии двух соседних с ней волостей Выборгской губернии. Но и это предположение не было осуществлено. Между тем финляндцы, как все маленькие народности, ревниво относились ко всякому сокращению их территории.

Словом, власть действовала как капризная женщина: обижалась по пустякам, щипалась и одновременно плакалась, что ее не хотят понять, но никаких решительных, хладнокровных, стойких и до конца осуществленных мер не принимала. Запрещенное сегодня завтра разрешалось. Отвергнутое вчера на другой день приветствовалось и одобрялось. Престиж власти, уверенность в непоколебимости принятых ею решений улетучивались. С одной стороны, не было уверенности в том, что за невинные, законом не запрещенные действия не уедешь, по выражению Пушкина, «прямо, прямо на восток»⁷⁸, а с другой, укреплялось убеждение, что стоит лишь проявить стойкое сопротивление, чтобы парализовать любое распоряжение правительства. Уходили в какое-то мелочное препирательство, причем столкновения между властью государственной и общественными учреждениями превращались в своеобразный юридический процесс, то разрешавшийся сенатскими решениями, то противоречащими этим решениям произвольными действиями администрации.

Не достигалось даже то, о чем говорит Тацит как об основе прочности императорской власти в Древнем Риме: «oderint dum metuant» («ненавидели, но боялись»), что в таком совершенстве применили в управлении большевики. При Плеве ненависть к правительству неуклонно росла, а страх перед ним все более исчезал.

Означенным основным свойством отличался и всеподданнейший доклад Плеве о земских оценочно-статистических работах. Заключавшаяся в Нем не то угроза, не то обещание передать эти работы в ведение администрации никогда осуществлена не была, но заложила первое основание недоброжелательного отношения земства к Плеве.

Упомяну здесь, что и в дальнейшем в этом вопросе, как и во многих других, Плеве продолжал действовать путем отдельных распоряжений, не изменявших существа дела, но усиливающих раздражение общественных кругов. Так, по всеподданнейшему докладу Плеве 25 марта 1904 г. ему, министру внутренних дел, было предоставлено право приостанавливать все земские статистические обследования в тех губерниях, в которых он признает это целесообразным, но правом этим на деле он воспользовался, в общем, лишь в весьма ограниченных пределах. Это была та же система

подвешивания дамоклова меча над головой правых и виноватых, озлобившая и тех и других без достижения от этого реального результата.

Тут, несомненно, сказывалось все судебное и полицейско-бюрократическое прошлое Плеве и отсутствие какого-либо общения с элементами и учреждениями общественными. Формального, бюрократического отношения к ним, при всем желании подойти к этим элементам ближе и говорить с ними на их языке, Плеве перебороть не мог, как не был он в состоянии удержаться от сарказмов и иронии. Употребляя французское непере译имое выражение «c'était la doigte qui lui manquait»⁷⁹.

Именно это свойство Плеве явилось едва ли не главной помехой с самого начала его управления Министерством внутренних дел для установления между ним и земскими кругами дружеских или хотя бы просто нормальных отношений.

Помешали этому, несомненно, и те люди, которых он избрал посредниками между ним и земством. Так, предпринятая им попытка сговориться с председателем московской губернской земской управы, о которой я упоминал уже ранее, потерпела неудачу в значительной степени от личных свойств ведшего эти переговоры Н.А. Зиновьева, отличавшегося какой-то природной грубостью и резкостью. Когда же эта попытка не удалась и несколько озлобленный этим Плеве решил побороть земство на деловой почве, выяснив путем ревизий земских учреждений многие дефекты в их практической хозяйственной деятельности, то избранные им ревизоры, а именно тот же Зиновьев и Штюмер, своим отчасти неумелым, отчасти определенно злобным и даже не всегда порядочным образом действий привели к полному разрыву между ним и земствами.

Зиновьев, по-видимому, думал, что достаточно выявить и сделать общим достоянием те недочеты, которые он обнаруживал при этих ревизиях, чтобы лишить эти учреждения общественных симпатий и, во всяком случае, в полной мере оправдать принимаемые против них правительственные меры. Трудно было впасть в большее заблуждение. Общественность мало интересовалась хозяйственной деятельностью местных самоуправлений, в особенности земских. Она видела в земцах передовых борцов за политическую свободу, за участие широких слоев населения в разрешении вопросов общегосударственного значения и именно с этой стороны дорожила ими и ценила их.

При этом Зиновьев обнаруживал, несомненно, придирчивое отношение к земским деятелям и ставил им в вину такие деяния, которые решительно никакого ущерба никому не наносили, а, наоборот, лишь содействовали успеху хозяйственных начинаний земства. Так, в ревизионном отчете московского губернского земства Зиновьев вменил в вину местному земству

и признал за явное нарушение им закона собиравшееся губернской земской управой совещание председателей уездных земских управ. Подобные совещания по мере расширения хозяйственной деятельности земств были, безусловно, необходимы, а упразднить их не было никакой фактической возможности. Формальное запрещение таких совещаний могло лишь привести к их перенесению в частные помещения и придать им тем самым конспиративный характер, что не могло, очевидно, соответствовать видам правительства.

Между тем обвинение земских деятелей в столь невинных и по существу правильных действиях налагало на всю производившуюся ревизию отпечаток пристрастности, что лишало доверия к правильности оценки других сторон земской деятельности, действительно страдавших недочетами. Кроме того, весь способ описания деятельности земских и городских учреждений был в корне неправилен. Ревизионные отчеты Зиновьева ограничивались указанием недочетов в земской деятельности и не отмечали вовсе те отрасли их деятельности, которые были поставлены удовлетворительно, а тем более не указывался постепенный рост и расширение деятельности общественных учреждений. Так, в ревизионном отчете о столетии городских управлений решительно все городское хозяйство было раскритиковано и сделано исключение лишь для одного школьного дела.

Неудачным оказался и выбор для производства ревизии новоторжской уездной и тверской губернской земских управ Б.В. Штюмерера. В этой ревизии общество вообще усматривало репрессалию за адрес, представленный тверским земством государю еще при восшествии на престол, адрес, заключавший прямое указание на необходимость введения в стране конституционного образа правления и инспирированный земцами Новоторжского уезда. При этих условиях ревизия эта, что бы она ни обнаружила, БША бы, во всяком случае, встречена общественностью с недоверием и даже неприязнью. Назначение для производства этой ревизии Штюмерера, а главное — способы ее производства усилили это чувство. Дело в том, что Штюмерер сам был гласным тверского земства по Бежецкому уезду, причем в бытность председателем тверской губернской земской управы по назначению от правительства сошелся с левыми кругами этого земства. Вследствие этого, когда Штюмерер приступил к производству возложенной на него ревизии, то встретил со стороны местных земских деятелей вполне дружелюбное и доверчивое отношение. Сам Штюмерер, конечно, вовсе не старался изменить этого отношения к себе и, мало того, при самом производстве ревизии не только никаких замечаний не делал, а, наоборот, высказывал самые либеральные мнения о деятельности земств вообще. Появившийся затем в печати отчет Штюмерера о произведенной им ревизии как гром поразил и возмутил тверское земство⁸⁰.

Особенно возмутило тверичей, что Штюмер в ревизионном отчете поставил в вину губернскому земству отказ в ассигновании каких-либо средств на школьное дело тверскому уездному земству вследствие того, что последнее постановило передать все земские школы в ведение епархиального начальства, т.е. превратить их в школы церковно-приходские, тогда как это постановление губернского земства было инспирировано им самим в качестве губернского гласного.

Надо, однако, отдать справедливость Штюмеру: представленный им ревизионный отчет, автором которого был упомянутый мною выше Гурлянд, заключал мастерское изображение многих несовершенств в тверском земском хозяйстве, а также недопустимое с правительственной точки зрения попустительство обревизованных земских управ по отношению к определенно революционной деятельности их наемных служащих, так называемого «третьего элемента»⁸¹. Но даже государственно мыслящие слои населения совершенно не постигали в то время, что эта революционная деятельность подтачивает не существующую форму правления, а устой всего социального строя страны и направлена прежде всего против них самих. Либеральные элементы видели в революционной интеллигенции лишь мощного союзника в их борьбе за «правовой порядок» и от этого представления освободились в полной мере лишь после торжества в 1917 г. большевизма, упразднившего и право и порядок.

Последовавшее 16 января 1904 г., по всеподданнейшему докладу Плеве, назначение на предстоящее трехлетие правительственных земских управ в Тверской губернии и в Новоторжском уезде и одновременное предоставление министру внутренних дел права «воспрепятствовать пребыванию в пределах Тверской губернии или отдельных ее местностей лицам, вредно влияющим на ход земского управления», вызвало в земской среде почти единогласное возмущение.

Высылка из Тверской губернии гласного Петрункевича, лидера либеральной партии, а равно Апостолова и Н.К. Милюкова (родственника будущего лидера кадетской партии) лишь усилило это чувство. Тому же содействовало и предоставление права тверскому губернатору «устранять от службы по земству лиц, вредных для общественного порядка и спокойствия».

По поводу ревизии тверского земства надо указать, что принятые на ее основании меры составили определенное нарушение закона. Закон предоставлял правительственной власти самой назначать состав земской управы лишь после двоекратного неутверждения им выборного состава управы. Поэтому, в данном случае, министру внутренних дел следовало предоставить новоторжскому уездному и тверскому губернскому земским собраниям выбрать новые, взамен не утвержденных им, управы и лишь в случае выбора ими таких лиц, которых он не признал бы возможным

утвердить в их должностях, назначить собственной властью личный состав этих управ. Вопрос этот подробно обсуждался Плеве вместе с его сотрудниками, причем все они, за исключением Штюмерера, высказывались за соблюдение закона. Что же касается Штюмерера, то, опрошенный последним, он в ответ прочел составленный им проект всеподданнейшего доклада, по которому испрашивалось не только немедленное назначение личного состава упомянутых управ правительством, но еще и распространение на Тверскую губернию положения о чрезвычайной охране. Тут произошла довольно любопытная сценка, ярко свидетельствующая о тех отношениях, которые установились между Плеве и директором департамента подведомственного ему министерства. После прочтения Штюмерером своего проекта Плеве молча взял его из рук Штюмерера и, не говоря ни слова, разорвал его на части и бросил в корзину. В результате же был составлен новый всеподданнейший доклад, в котором говорилось лишь о назначении правительственного состава обривизованных управ. Никакие убеждения одного из сотрудников Плеве не предпринимать этого бесцельного и ложного шага при этом не подействовали, причем несколько разозленный Плеве в качестве *ultima ratio*⁸² извлек из своего портфеля и показал полученную им собственноручную записку государя, гласившую: «Я много думал о нашем разговоре о тверском земстве: надо их треснуть». Записка эта, написанная чернилами и подписанная полным именем «Николай», свидетельствовала по своей форме, что государь придавал ей значение повеления. Действительно, записки, которые государь обращал к министрам, обыкновенно писались им карандашом и имели в виде подписи лишь букву «Н», и только те, которыми государь что-либо предписывал, облекались в более формальный вид.

Служило ли это обстоятельство оправданием Плеве в данном случае? Ъдва ли. Очевидно, что решение государя было основано на докладе са мого Плеве, от содержания которого оно и зависело. Независимо от этого Плеве всегда имел возможность представить при новом докладе государю дело в его настоящем, хотя бы с точки зрения закона, свете. Однако на это Плеве, воспитанный в условиях царствования Александра III, не был способен.

В не меньшей мере возбуждали общественное недовольство и меры, принимавшиеся к сокращению круга вопросов, обсуждавшихся сельскохозяйственными комитетами. Не без основания при этом указывали на несогласованность действий местных властей. Так, одни губернаторы в качестве председателей губернских сельскохозяйственных комитетов, предоставляли членам этих комитетов полную свободу суждений, другие же не только стесняли эту свободу и самовольно ограничивали круг вопросов, который они допускали к обсуждению, но даже сообщали этим комитетам лишь выдержки из суждений уездных сельскохозяйственных комитетов, устраняя из них все то, что, по их мнению, выходило из круга вопросов,

подлежащих их обсуждению. В Тамбове это привело даже к выходу из состава губернского комитета почти всех общественных деятелей.

Особое недовольство и даже возмущение вызвали, однако, действия самого Плеве по отношению к некоторым членам уездных сельскохозяйственных комитетов. Так, упомянутая мною выше высылка из Воронежа Мартынова и Бунакова, одному из которых (не помню кому) было к тому же под 80 лет, за речи, сказанные ими в Воронежском уездном сельскохозяйственном комитете, так же как лишение кн. Павла Дмитриевича Долгорукова, рузского уездного предводителя дворянства, права участвовать в выборных общественных учреждениях, породили неудовольствие даже в наименее оппозиционных правительству дворянских и земских кругах⁸³.

Все это привело к тому, что отношения земских учреждений с представителями администрации, а в особенности с ее главным руководителем Плеве понемногу все более ухудшались и обострялись. Состязания между теми и другими приобретали местами характер спорта. Некоторые губернаторы через посредство губернских по земским и городским делам присутствий отменяли все большее количество постановлений земских собраний, которые, в свою очередь, обжаловали решения этих присутствий в Сенат, причем последний нередко становился на сторону земств.

Настроение земских кругов и основные их чаяния получили наиболее яркое выражение в записке представителей 17 земских губерний, приглашенных в комиссию по оскудению центра.

Комиссия эта была образована еще весной 1903 г., т.е. во время управления Министерством финансов Витте, и в его представлении, несомненно, должна была помочь ему в его борьбе с Плеве, но собралась она при управлении Министерством финансов Плеске, а именно в октябре 1903 г., и действовала под председательством В.Н. Коковцова, бывшего в то время государственным секретарем и лишь недавно покинувшего должность товарища министра финансов и посему хорошо знакомого с подлежащим обсуждению вопросом. Плеве смотрел на эту комиссию с определенной неприязнью, и назначение Коковцова ее председателем состоялось по его представлению о том государю.

Действительно, на первом же заседании земцы перевели суждения в область общих вопросов, и притом не столько экономических, сколько политических. Был, разумеется, поднят и даже поставлен во главу угла вопрос крестьянский, на что, собственно, и надеялся инициатор комиссии Витте. Но времена были уже не те. Коковцов, имевший по этому поводу определенные инструкции и отнюдь не желавший восстанавливать против себя Плеве, надеясь вскоре при его содействии заменить на посту министра финансов

умиравшего в то время Плеске, разумеется, не мог допустить такого изменения характера комиссии. Поступил он, однако, очень дипломатично: никого из земцев он не остановил, а лишь предложил им изложить их общие взгляды в особой записке; на разрешение же комиссии поставил лишь те вопросы, которые были предусмотрены программой ее занятий, политики, разумеется, не касавшиеся.

Цель земцев была, однако, в известной степени достигнута: записка их появилась в повременной печати и, таким образом, содействовала распространению их взглядов.

Заключала же эта записка все лозунги, выставлявшиеся в то время земскими кругами, как то: проведение начала равенства крестьян как в правах, так и в обязанностях с другими сословиями, причем перечислялись все те ограничения прав крестьян, которые необходимо отменить. Далее земцы указывали, что действенность мер, направленных к подъему сельского хозяйства, будет обеспечена лишь в том случае, если одновременно будут приняты меры, клонящиеся на подъем культурного уровня крестьянства. Выражалось при этом желание передачи земству осуществления всех мер, направленных на подъем экономического благополучия крестьянства при одновременном снабжении земств с этой целью правительственными, общегосударственными средствами, «так как они, земства, и только они, могут с пользой и планомерностью проводить эти меры в жизнь». В заключение земцы высказывались за уменьшение косвенных налогов на предметы первой необходимости и их замену прямым подоходным налогом, занижение выкупных платежей и сложение накопившихся по ним недоимкам, за принятие имеющих государственный характер мирских расходов а счет государственных средств, за развитие на средства Государственно го банка и сберегательных касс мелкого народного кредита, за поддержание кустарных промыслов, урегулирование отхожего промысла, упорядочение переселенческого дела и арендного пользования земель.

Я нарочно привел подробный перечень пожеланий земцев, из которых большинство было принято комиссией, чтобы лишний раз отметить, как относилось к своим обязанностям старое русское земство, всецело руководимое и в преобладающем большинстве состоящее из представителей дворянского землевладения. На предложенные ему вопросы о подъеме сельского хозяйства оно ответило рядом пожеланий, направленных всецело и исключительно к подъему крестьянского благосостояния, к уравниванию крестьянских прав. И все это высказывали, и притом единогласно, представители всех земских течений, причем среди приглашенных в комиссию преобладало правое течение. Наиболее левым из приглашенных был председатель новгородской земской управы Колюбакин, да и тот, говоря о неустройстве и беспорядках сельской жизни, говорил о необходимости их немедленного устранения в целях обеспечения государственной крепости и

основ существующего социального строя. Это не мешало и не мешает до сих пор нашим революционерам, да и не им одним, говорить о гнете, испытывавшемся крестьянами от помещиков, о том, что помещики — вот то главное зло, которое необходимо было истребить в России, и что в этой своей части большевистская революция сделала благое дело.

Русские помещики едва ли были даже правы, когда в роли заведующих местными хозяйственными нуждами всецело игнорировали интересы всех остальных, кроме крестьянского, слоев населения. Независимо от того общеизвестного положения, «*que la charite bien ordonnee commence par soi-meme*», имеющего глубокий смысл, такой образ действий был уже потому по меньшей степени односторонним, что экономическое процветание государства обеспечивается лишь при нормальном росте благосостояния всех классов населения, но с точки зрения этической подобный образ действий землевладельческого класса нельзя не признать в высшей степени бескорыстным и возвышенным. Кто заменит в новой России этот наиболее культурный и готовый на всякие жертвы ради достижения народного блага, ныне почти всецело истребленный класс?

Единственно, что земцы отстаивали как будто бы в собственных интересах, это самостоятельность земских учреждений и ограждение их, как они выражались в своей записке, «от всевозможных внешних воздействий». «Между тем, — писали они, — деятельность земства встречает в последнее время всевозможные препятствия».

В этой фразе вылились основные волновавшие в то время земские круги заботы и чувства и ясно сказалось их единодушно недружелюбное отношение к Плеве. Глухая борьба принимала характер открытой оппозиции и, конечно, еще более озлобила Плеве, что выразилось, между прочим, в том, что избранные в 1904 г. вологодским губернским земским собранием Кудрявый, а московским — Шипов председатели губернских земских управ не были им утверждены в этих должностях. Мера эта была едва ли разумна, а неутверждение Шилова, безусловно, нетактично как по отсутствию сколько-нибудь серьезных оснований к тому, так и вследствие той широкой популярности, которой Шипов пользовался почти среди всех земцев без различия их политических взглядов.

Не меньшее, разумеется, неудовольствие как среди земцев, так и вообще в широких общественных кругах вызвало прекращение Плеве деятельности общеземской организации, работавшей на Дальнем Востоке⁸⁶ на происходившей там в то время Японской войне. Однако надо признать, что причины к принятию этой меры, несомненно, были у Плеве. Организацию эту, действующую под руководством лживого, хитрого и слабовольного кн. Львова, с места наводнили революционные элементы. Выяснилось это в полной мере, когда по возобновлению деятельности этой организации после

убийства Плеве и назначения министром внутренних дел кн. Святополк-Мирского и обнаружившегося в Маньчжурской армии в 1905 г. тотчас после окончания войны распада дисциплины в Сибири произошли крупные революционные выступления. В этих выступлениях как среди их подстрекателей, так и среди их участников оказались многие лица, работавшие в общеземской организации.

Роковым последствием все усиливавшегося запальчиво-раздражительного отношения Плеве к умеренно-либеральным кругам общественности явилось все большее цементирование воедино всех оппозиционных элементов, в том числе и крайних. Так, например, когда собравшийся в начале января 1904 г. третий съезд деятелей по техническому и профессиональному образованию был на второй же день после его открытия распоряжением градоначальника закрыт, а некоторые его участники подвергнуты административной высылке, то мера эта вызвала всеобщее возмущение, хотя некоторые из речей, произнесенных на съезде, носили открыто революционный характер, допустить который правительство не могло, а высланные лица — Чарнолусский, Фальборк и Воробьев — принадлежали к социал-демократическому лагерю русской интеллигенции.

Столь же резко осуждалось и другое, состоявшееся почти одновременно с первым, распоряжение правительства, а именно воспрещение огласить на заключительном собрании происходившего между 4 и 11 января 1904 г. в Петербурге пироговского съезда врачей принятых им постановлений. Воспрещение это фактически привело лишь к тому, что постановления эти, в составлении коих участвовало 2136 членов съезда, передавались из рук в руки и таким путем получили едва ли не большее распространение и, во всяком случае, вызвали к себе больший интерес, нежели если бы оглашение их было разрешено. Ненужность этой меры была тем большая, что правительство имело в то время полную возможность, если не желало широкого распространения резолюций пироговского съезда, собственным циркулярным распоряжением воспретить их воспроизведение в печати. Ограничиться этим было тем более целесообразно, что подобное распоряжение было одновременно принято.

Впрочем, отношение Плеве к печати также подвергалось жестокой критике, в особенности же осуждались меры, принимаемые по отношению к отдельным журналистам. Так, например, мера, принятая против А.А. Столыпина, состоявшего в то время либо издателем, либо редактором «С.-Петербургских ведомостей», а именно лишение его права редактирования этой газеты, не встретила сочувствия даже в кругах, наиболее преданных существовавшему государственному строю. Оно и понятно. А.А. Столыпин был в общем весьма умеренный публицист, между прочим горячо восставший против обвинения администрации в организации кишиневского еврейского погрома⁸⁸.

Совокупность всех распоряжений министра внутренних дел, раздражавшая общественность, хотя по существу не важных и в особенности не достигавших никаких реальных результатов и имевших иногда характер придирок, имела последствием, что даже на активные выступления террористов-революционеров часть по существу консервативно настроенных культурных слоев населения смотрела все с большею снисходительностью, не только избегала их осуждения, но доходила даже до оправдания их способа действий.

Участившиеся еще с весны 1903 г. революционные вспышки то в том, то в другом месте обширного государства не только не вызывали в либеральных кругах опасений за целостность государства, а тем более за собственную безопасность, а, наоборот, рассматривались как симптом неизбежного в скором будущем изменения государственного строя в желательном для них направлении. Буржуазный капиталистический строй почитался при этом преобладающим большинством имущественно обеспеченных слоев населения настолько по самому существу своему даже не крепким, а просто естественным и поэтому незыблемым, что возможность его, хотя бы временного, крушения никому и в голову не приходила. Происходила в их представлении лишь осада политической власти в целях обеспечения непосредственного участия в ней общественных сил, а посему производящие эту осаду, все без исключения и независимо от способа их действий, приветствовались как союзники. Естественно, что при таких условиях суровое усмирение возникающих беспорядков не только вызывало возмущение, но приводило к расширению кругов, интересующихся политическими вопросами и порицающих правительственную деятельность.

Огромное впечатление произвели на общественность действия власти при подавлении беспорядков, возникших в марте 1903 г. на золотоустовских заводах Уфимской губернии. Здесь для усмирения рабочих были вызваны войска, ружейным огнем которых было убито 45 человек и ранено, в том числе несколько женщин. Последовавшие затем беспорядки в Баку, Батуме, Саратове, Вильно, усмиренные без кровопролития, уже почти не привлекли общественного внимания, которое понемногу привыкло на них смотреть как на нечто нормальное, в общем для государства как такового не опасное и, во всяком случае, не требующее общественного противодействия.

Не изменили этого отношения и беспорядки, произошедшие в Одессе в июле 1903 г., хотя они потребовали вызова в город воинских частей, находившихся в это время в их летнем лагерном расположении. Не взволновали общество и беспорядки, возникшие осенью 1903 г. на заводах Екатеринославской губернии. Еще меньшее впечатление произвели волнения на Кавказе (в Шуше, Нухе, Елизаветполе), которые связывали с суровыми мерами, принятыми по отношению к армяно-григорианской церкви, имущество которой было принято в казенное управление, а глава ее, католикос Мкртич,

заточен в монастырь. Мера эта была принята по предложению главноначальствующего на Кавказе кн. Г. Голицына и в общем не одобрялась Плеве, однако общественное мнение приписывало и ее ненавистному министру внутренних дел.

Действительно, к этому времени всякое действие и даже всякое событие, вызывавшее неудовольствие и неодобрение общественного мнения, целиком приписывалось Плеве. С особой резкостью сказалось это по поводу двух событий, хотя и весьма различных по их значению, но едва ли не в равной степени вызвавших озлобление против Плеве, так как возникновение обоих общественность приписывала Плеве, а именно еврейский погром в Кишиневе и наша война с Японией.

Произошедший в апреле 1903 г. кишиневский еврейский погром был приписан инициативе Плеве не только русской общественной мыслью, но и западноевропейской прессой.

Погром этот принял совершенно необычайный размер. Производился он в течение двух дней — 6 и 7 апреля, причем 45 человек было убито, 71 тяжело ранен и 350 получили легкие поранения. Еще значительно были имущественные повреждения: разгрому подверглись 700 домов и 600 лавок, количество же растрепанных перин, без которых даже бедные евреи не обходятся, было столь значительно, что весь воздух в городе был заполнен содержащимися в перинах пухом и перьями.

Русская пресса по цензурным условиям не имела, разумеется, возможности воспроизвести на своих столбцах упорно распространяющуюся революционными элементами нелепую сказку, что погром этот не только сознательно не был прекращен властью в самом начале, а, наоборот, был искусственно вызван администрацией. В ином положении была иностранная пресса, значительная часть которой находилась в еврейских руках. Легенда о том, что русская правительственная власть не только не удерживает население от еврейских погромов, а, наоборот, поощряет его в этом направлении, распространилась и ранее. Распространение это обуславливалось желанием международного еврейства доказать, что население, производящее погромы, отнюдь не питает недружелюбных чувств к проживающему с ним бок о бок еврейскому населению, а искусственно натравливается на него властями. Еврейство, согласно этой легенде, являлось тем деривативом, тем козлом отпущения, на которое русское правительство стремилось направить неудовольствие населения своим тяжелым материальным положением, зависящим, по существу, от неправильной экономической политики самого правительства. Абсолютная вздорность этой легенды едва ли требует доказательства. Можно так или иначе объяснять недружелюбное отношение к еврейству населения городов и местечек так называемой местности еврейской оседлости; можно признавать или отрицать

эксплуатацию христианского населения живущим среди него еврейским элементом, но нельзя отрицать самого факта глухой неприязни русских народных масс к этому племени, неприязни, легко переходящей по самому незначительному поводу в жестокую злобу, принимающую самые дикие выражения.

Тем не менее легенда эта не только распространилась, но находила даже в русской среде множество лиц, принимавших ее на веру и даже безусловно убежденных в ее справедливости. Вслед за кишиневским погромом она получила всемирное распространение. Воспроизведена она была не только в западноевропейской, но и в американской печати, причем на столбцах ее появилось даже апокрифическое письмо министра внутренних дел бессарабскому губернатору от 25 марта 1903 г., помеченное «совершенно секретно», следующего содержания: «До сведения моего дошло, что в вверенной вам области готовятся большие беспорядки, направленные против евреев, как главных виновников эксплуатации местного населения. Ввиду общего среди городского населения беспокойного настроения, ищущего только случая, чтобы проявиться, а также принимая во внимание бесспорную нежелательность слишком суровыми мерами вызвать в населении, еще не затронутом революционной пропагандой, озлобление против правительства, вашему превосходительству предлагается изыскать средства немедленно по возникновении беспорядков прекратить их мерами увещания, вовсе не прибегая, однако, к оружию»*.

Плеве признал нужным в особом правительственном сообщении огласить содержание приписанного ему письма, сопроводив его, разумеется, заявлением, что не только письмо это вымышленное, но что вообще никаких ни писем, ни сообщений бессарабскому губернатору с предупреждением о готовящихся беспорядках от министра внутренних дел послано не было. Однако последствия этого правительственного сообщения получились обратные тем, которых ожидал Плеве. Вымышленное письмо было перепечатано нашей прессой, разумеется, с сопровождавшим его опровержением, но без всяких комментариев, что лишь распространило и утвердило в русском обществе веру, что погром был вызван искусственно. Этому же, несомненно, содействовала высылка из России корреспондента газеты «Times», некоего Braham'a, вообще снабжавшего эту газету корреспонденциями, изобиловавшими вымышленными сведениями враждебного для России свойства, но особенно напиравшего на прямую причастность русской администрации к кишиневскому погрому. Мера эта, сама по себе совершенно бездоказательная, конечно, не остановила того потока грязи, которую лили на Россию и ее правительство некоторые иностранные органы прессы, причем как «Times», так и ее корреспондент Braham лишь усилили свои нападки на русский государственный строй, и в частности на министра внутренних дел Плеве.

Словом, кишиневский погром еще более сгустил ту атмосферу ненависти, которая понемногу окружила Плеве не только в русском общественном мнении, но даже и в иностранном, хотя в этом тяжелом происшествии он ни в каком отношении повинен не был. Формально это можно доказать тем, что бессарабский губернатор Фон-Раабен, не сумевший вовремя остановить еврейский погром, был немедленно уволен в отставку с присвоением ему лишь полагавшейся по закону пенсии, как известно, совершенно нищенской. По этому поводу я имел случай лично беседовать с Фон-Раабеном, разумеется, старавшимся оправдать свои действия и сваливавшим всю вину на военное начальство, которому он фактически

* Можно ли удивляться, что письмо это было всем миром признано за подлинное, когда сам Плеве, прочитав его в «Освобождении»³ (которое он постоянно читал), первоначально сам подумал, что оно действительно было им подписано? Он вызвал директора департамента полиции Лопухина и гневно его спросил: «Как могли вы подсунуть мне к подписи такое письмо?» Узнав, что подобного письма никогда послано не было, он, конечно, успокоился. передал власть с целью вооруженного подавления беспорядков. Оправдание это было, конечно, слабое, но одновременно доказывающее, что никаких указаний на то, чтобы он «вовсе не прибегал к оружию» для подавления беспорядков, он не получал. Слабость же его оправдания заключалась в том, что, как было указано в циркуляре министра внутренних дел губернаторам от 28 апреля 1903 г., т.е. вскоре после погрома, «гражданские власти во время беспорядков не имеют права при вызове войск передавать военному начальству свои обязанности по водворению порядка, а должны лично присутствовать на местах, направлять совокупность деятельности войск и полиции к умелому и энергичному подавлению беспорядков».

Наконец, отсутствие всякого участия администрации в организации еврейских погромов проявилось в полной мере весьма скоро, а именно осенью 1904 г., когда подобные погромы произошли при управлении Министерством внутренних дел кн. Святополк-Мирским в Ровне Волынской губернии, Александрии — Херсонской и Смеле — Киевской, причем в этом местечке были разгромлены 172 еврейские лавки. Подозревать кн. Мирского в устройстве погромов едва ли кто решится. Впрочем, это признала и еврейская пресса.

Газета «Новости», издававшаяся евреем Нотовичем, после жестокого еврейского погрома, произошедшего в 1905 г. в Томске, приписать который правительству не было никакой возможности, разразилась громовой статьей против русского народа. Она писала, что до сих пор еврейство почитало своим врагом правительство самодержавной России и ему одному приписывало все испытываемые им в России бедствия. Но теперь еврейство

убедилось, что враг его — весь русский народ; против этого народа должно еврейство поднять борьбу на смерть.

Не могу по этому поводу не отметить то пристрастное отношение в смысле огульной критики, которую проявляла наша прогрессивная печать к действиям правительства. Когда шел вопрос о способе подавления беспорядков в Златоусте, народ ставился на пьедестал, а действия власти, направленные к водворению порядка, квалифицировались как преступление. Когда же тот же народ принялся громить евреев, он тотчас превратился в чернь, а власть, своевременно не применившая силы оружия, обвинялась в попустительстве.

Да, тяжело было положение русского правительства в те времена.